



ЕВГЕНИЙ
САЛИАС
—
СОЧИНЕНИЯ

Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир

Ширь и мах (Миллион)

OCR Бычков М. Н.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=169881

Сочинения в двух томах. Том 1: Художественная литература; Москва;

1991

ISBN 5-280-01547-4

Аннотация

Впервые этот исторический роман был издан под названием «Миллион» в 1885 году.

Содержание

| | |
|--------------|-----|
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | 7 |
| I | 7 |
| II | 15 |
| III | 23 |
| IV | 28 |
| V | 33 |
| VI | 40 |
| VII | 46 |
| VIII | 52 |
| IX | 58 |
| X | 64 |
| XI | 69 |
| XII | 75 |
| XIII | 82 |
| XIV | 89 |
| XV | 93 |
| XVI | 102 |
| XVII | 111 |
| XVIII | 119 |
| XIX | 126 |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ | 131 |
| I | 131 |
| II | 137 |

| | |
|--------|-----|
| III | 145 |
| IV | 151 |
| V | 166 |
| VI | 169 |
| VII | 175 |
| VIII | 182 |
| IX | 186 |
| X | 193 |
| XI | 201 |
| XII | 207 |
| XIII | 213 |
| XIV | 222 |
| XV | 228 |
| XVI | 235 |
| XVII | 242 |
| XVIII | 245 |
| ЭПИЛОГ | 249 |
| 1 | 266 |
| 2 | 267 |
| 3 | 268 |
| 4 | 269 |
| 5 | 270 |
| 6 | 271 |
| 7 | 272 |
| 8 | 273 |
| 9 | 274 |

| | |
|----|-----|
| 10 | 275 |
| 11 | 276 |
| 12 | 277 |
| 13 | 278 |
| 14 | 279 |
| 15 | 280 |
| 16 | 281 |
| 17 | 282 |
| 18 | 283 |
| 19 | 284 |
| 20 | 285 |
| 21 | 286 |
| 22 | 287 |
| 23 | 288 |
| 24 | 289 |
| 25 | 290 |
| 26 | 291 |
| 27 | 292 |
| 28 | 293 |
| 29 | 294 |
| 30 | 295 |
| 31 | 296 |
| 32 | 297 |
| 33 | 298 |
| 34 | 299 |
| 35 | 300 |

| | |
|----|-----|
| 36 | 301 |
| 37 | 302 |
| 38 | 303 |
| 39 | 304 |
| 40 | 305 |
| 41 | 306 |
| 42 | 307 |
| 43 | 308 |
| 44 | 309 |
| 45 | 310 |
| 46 | 311 |
| 47 | 312 |
| 48 | 313 |
| 49 | 314 |
| 50 | 315 |
| 51 | 316 |
| 52 | 317 |
| 53 | 318 |
| 54 | 319 |

Евгений Андреевич Салиас
Ширь и мах
(Миллион)
Исторический
роман в 2-х частях
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Широко, гулко, размашисто, будто потоком – идет вельможная жизнь екатерининского царедворца.

Таврический дворец шумит, гудит, стучит.

У князя Потемкина прием.

Полдень... Под прямыми лучами майского солнца дворец ослепительно сверкает своей белизной. Весь двор заставлен десятками всяких экипажей и верховых коней. В чаще сада, на всех дорожках, мелькают яркоцветные платья и мундиры. Во всех залах и горницах огромных палат «великолепного князя Тавриды» плотная толпа кишит как обеспокоен-

ный муравейник и снует, путается всякий люд, от сановника в регалиях до скорохода в позументах... А среди этой толпы кое-где мелькнет, отличаясь от других, статный кавалергард в серебристых латах, арап длинный и черномазый в пунцовом кафтане; киргизенок с кошачьей мордочкой, в пестром халате и с бубунчиками на ермолке; пленный нахлебник-турок в красной феске, шальварах и туфлях; карлы и карлицы в аршин ростом с зеленовато-злыми или страшно морщинистыми лицами. А между всеми один, сам себе хозяин, никому не раб и не льстец, – ходит, важно переваливаясь, генеральской походкой громадный белый сенбернар. ^{1}

На парадной лестнице и в швейцарской стоят десятки камер-лакеев и фурьеров, ^{2} гайдуки, берейторы, ^{3} казачки-скороходы... Мимо них проходят, прибывая и уезжая, сановники и вельможи с ливрейными лакеями и гвардейские штаб-офицеры с денщиками, гонцы и курьеры из дворца.

И все это блеснит, сияет, искрится точно алмазами.

Будто ярко-золотая волна морская бьется о стены Таврического дворца, то напирая с улиц под колоннаду подъезда, то вновь отливая обратно с двора...

Высокие щегольские кареты, новомодные берлины ^{4} и коляски, старые громоздкие рыдваны, ^{5} экипажи всех видов и колеров, голубые, палевые, фиолетовые... снуют у главного подъезда... Лакеи и гайдуки швыряются, подсаживая и высаживая господ, и лихо хлопают дверцами, с трес-

ком расшвыривают длинные, раздвижные в шесть ступеней одножки, по которым господа чинно шагают, качаясь как на качелях...

– Подавай! Пошел! – то и дело зычно раздается по двору.

И движутся разномастные цуги сытых глянцевитых коней, то как уголь черные, то молочно-белые, или ярко-золотистые с пепельными гривами и хвостами, или диковинно-пестрые, пегие на подбор, так что от масти их в глазах рябит. Цуги коней, будто большие змеи, выются по двору, ловко и лихо изворачиваясь в воротах, или у подъезда, или среди экипажей и людей. Искусник-форейтор^{6} из малорослых парней, а чаще шустрый двенадцатилетний мальчуган бойко ведет свою передовую выносную пару коней – подседельного и подручного.

– Поди! Гей! – озорно и визгливо вскрикивает он и все вертится в седле, оглядываясь на свои построения и на весь цуг, на дышловых, на толстого кучера с расчесанной бородицей, что расселся важно на бархатном чехле с золотыми гербами.

Всадники-гонцы, офицеры и солдаты, тут же скачут взад и вперед. Двое, справив порученье, садятся на лошадей, а на их место трое влетели во двор и, бросив поводья конюхам, входят на подъезд, сторняясь вежливо, чтобы пропустить вельможу, сенатора, адмирала, сающихся в поданную карету.

В саду, на лужайках, на площадках и в подстриженных по-

модному аллеях, мелькают цветные кафтаны и дамские юбки, звенят веселые голоса, женский смех и французский говор... Здесь гуляют гости, приехавшие не по делу, не с докладом, не с просьбой, а «по обыкности» – одни, как хорошие знакомые, другие, чтобы faire leur cour¹ временщику и раздавателю милостей.

Близ легкого пестро выкрашенного мостика, среди площадки, между мраморными амурами на пьедесталах, собралась большая кучка пожилых сановников, зрелых дам и молодежи. Общество сгруппировалось вокруг красавицы баронессы Фон дер Тален, новой львицы при дворе и в городе... Маленькая и полная немочка, уроженка Митавы, ^[7] двадцати лет, от которой пышет красотой, юностью и здоровьем, одна из всех без пудры, румян и сурьмы. Блестящий цвет лица и прелестные голубые глаза белокурой баронессы не нуждаются в притираниях. «La Venus de Matau»² – ее прозвище в Питере, данное государыней в минуту раздраженья. Муж ее, уже пожилой генерал, давно в отсутствии, в армии, а она ухаживает за князем, и в столице носятся слухи, что Венера Митавская – временный предмет светлейшего.

Недаром и племянницы князя с некоторых пор постоянно заискивают у нее. И теперь здесь сошлись около нее и подшучивают над ней любезно три из племянниц князя: Самой-

¹ Угодать (фр.).

² «Венера Митавская» (фр.).

лова, ^{8} Скавронская ^{9} и Браницкая. ^{10}

Пожилой генерал-аншеф, ^{11} известный болтун, ходячая газета столицы и сплетник, но добродушный и подчас остроумный, рассказал что-то, что-то будто из истории Греции, случай из афинской жизни, с Алкивиадом, ^{12} но с понятными всем, прозрачными намеками на князя и баронессу. Всем им известно, кого давно зовут «Невским Алкивиадом».

– Vous calomniez l'histoire!³ – восклицает Самойлов, родной племянник князя Таврического.

– Pour plaire a la baronne,⁴ – отзывается генерал.

– Нет! Я бы на месте вашей афинянки поступила совсем не так... – звучит серебряный голосок красавицы баронессы. – Cette coquinerie d'Alcibiade⁵ не прошла бы ему даром... Она имела мало caractere.⁶

– В таких приключениях la coquinerie est la coquetterie des hommes...⁷ – заявляет молодой премьер-майор, ^{13} сердце и герой Кинбурна. ^{14}

– Когда женщина должна себя отстоять, – горячо продолжает баронесса, – то она перерождается: добрая – делается злой, глупая – умной и трусливая, как овечка, – тигрицей...

³ Вы клеветеете на историю! (фр.).

⁴ Чтобы понравиться баронессе (фр.).

⁵ Это плутовство Алкивиада (фр.).

⁶ характера (фр.).

⁷ плутовство – кокетство мужчин (фр.).

Завязывается спор. Почти все дамы на стороне баронессы...

– Полноте... Все вы правы! – решает графиня Браницкая. – Только побывав в положении вашей афинянки, можешь знать: что и как сделала бы...

Беседа снова переходит незаметно на непостоянство князя.

– *Domptez le lion...*⁸ – говорил кто-то, смеясь, баронессе.

– О, это не лев... – весело восклицает красавица. – Князь Григорий Александрович! Трудно найти в мире другого в *pendant*⁹ для сравнения... Он и медведь, и ласточка вместе!.. Знаете, что он?! *J'ai trouve!* Он – апокалипсический зверь... *c'est la bete de Saint-Luc.*¹⁰ Это – крылатый вол! Он лежит лениво и покорно у ног женщины, как и подобает *a la bete du bon Dieu...*¹¹ И вдруг в мгновение, *quand on s'attend le moins,*¹² взмахнет крыльями и умчится ласточкой.

– В синие небеса или к молдаванкам?..

– Да... к ногам другой женщины...

– Где докажет тотчас неверность пословицы, что одна ласточка весны не делает! – сострил генерал.

– Берегитесь, баронесса, – вымолвила Браницкая, – я пе-

⁸ Укротите льва (фр.).

⁹ пару (фр.).

¹⁰ Я нашла... это – зверь Сэнт-Люка (фр.).

¹¹ божьей коровке (фр.).

¹² когда ждешь меньше всего (фр.).

редам дяде ваше сравнение. Оно верно, но не лестно... Вол?..

– Крылатый, графиня... *je tiens a ce detail.*¹³

– Ага! Боятесь... что дядя выйдет из слепого повинования, – несколько резко заметила Скавронская.

– Слепое повинование есть исполнение всякого слова, всякой прихоти, – заметила сухо баронесса. – Этого нет.

– А вы бы желали этого?

– Конечно. Сколько бы я сделала хорошего, если бы каждое мое слово исполнялось князем. *Je suis franche.*¹⁴ Конечно, хотела бы!

– *Ce que femme veut – Dieu le veut.*¹⁵

– Да... но это старо и не совсем верно, – вмешивается пожилая княгиня.

– Правда! Надо бы прибавлять, – смеется баронесса, – *quand la Sainte Vierge ne s'oppose pas.*¹⁶

– О! О! – восклицают несколько голосов.

– *Voltairienne!*¹⁷ – говорил генерал.

– *Plutot... Vaurierme...*¹⁸ – прибавляет княгиня, трогая молоденькую женщину веером за подбородок. – Ох, мужу все отпишу... Он там пашей в плен берет, а жена здесь сама пле-

¹³ я держусь этой детали (фр.).

¹⁴ Я – чистосердечна (фр.).

¹⁵ Чего хочет женщина, хочет и Бог (фр.).

¹⁶ когда Святая Дева не воспротивится (фр.).

¹⁷ Вольтерьянка! (фр.).

¹⁸ Скорее... бездельница (фр.).

няется...

– Да... И напишите, княгиня. На что похоже. Барон там «курирует» опасность в битвах, а жена здесь бласфемирует.¹⁹

– Напишите! Напишите! Напишите!.. – раздаётся хор дам.

– Ох уж вы, молодежь... Грешите... – вздыхает старик сенатор. – Сказывается... все под Богом ходим!

– Да-с, ваше сиятельство... Истинно! А вот при Анне Ивановне, помните, не так сказывали...

– Как же? Как?

– Говорилось пошепту: «Все под Бироном ходим!»

И снова гулкий, звонкий и беззаботно звенящий смех раздается далеко кругом, будто рассыпается дробью по дорожкам среди подстриженных аллей.

¹⁹ От фр. blasphemer – богохульствовать, кошунствовать.

II

В большой зале дворца тихо. Глухой, задавленный ропот едва журчит, прерывая эту тишину, соблюдаемую из высокого почтения к месту и лицу. Народу тут всякого много, от сильных мира до самых слабых.

Великая награда привела сюда одного – чтобы отблагодарить, и великая обида привела сюда другого – просить заступничества. Этот получил вчера тысячу душ во вновь присоединенной Белой России, этот – богатые уголья, луга и леса из новых пустопорожных земель в Новой России, этот – серебряный сервиз в несколько сот рублей... Этот – крест, чин, придворное звание... А эти еще не получили, но желают получить и приехали ходатайствовать... А этот потерял все имущество от несправедливой ябеды, этого разорила тяжба с соседом, родственником Зубовых, этот просит виновный или солянный откуп, этот – местечка ради куска хлеба.

Во все века, у всех народов было, есть и будет то, что в этой зале теперь... Там, за высокими дубовыми дверьми – кабинет человека, который сам когда-то – простым офицером, мелким дворянином – мечтал о лишнем галуне, о лишнем рубле, а теперь для него все на свете... Этот дворец, даже вся столица, даже иные пределы и иные враги этой империи – трин-трава.

Мир и люди ему – муравьиная куча... Наступит он по

прихоти пятой на эту кучу – и сколько несчастных сделает, сколько горя, сколько слез. А захочет миловать – сколько счастливых заплачут от радости и восторга и поблагодарят Бога за князя Таврического.

Что же он? Посланник неба? Олицетворенная духовная мощь? Гений? Нет, он – чадо случая, сын фортуны. Его сила в слабости людской.

Он владыка мира сего, раб своих похотей.

Но где нужна тщетная сила желаний и воли сотни людей, он мизинцем двинет – и все творится по его мановению. И не в одном доме или одном городе, а на пространстве трети земного шара.

– Князь может много! – шепчет тощий, но важный сановник молодому франту, а около них дворянин из-под города Карачева, разоренный ябедой, смущенно мнет шапку в руках и робко, тайком прислушивается к их речи и вздыхает...

– Почему же так, ваше сиятельство?

– Царица всегда сделает по просьбе князя. А князь на просьбу царицы, бывает, отвечает: «Уволь, матушка, не могу. Приказ твой исполню, а коли просишь, не пеняй, не могу... Противно совести, или слову данному, или родственным чувствам!» Вот тут и аминь, государь мой.

И дворянин из-под Карачева отчаяннее мнет шапку, озираясь на сверкающие кругом мундиры, и все вздыхает...

– Воеводство, любезный приятель, токмо ему принесло пользу. Ему нужен был говор и шум на всю Европу, – тихо го-

ворит генерал-аншеф с Георгием на шее другому сановнику, адмиралу в белом мундире с зелеными отворотами. – А государственной надобности – умирать буду, скажу – не было и ныне нету. Что нам Таврида? Подобало создать между нами и оттоманами рубеж, независимое ханство... оплот... ограду... Да. А не брать себе... А он, поди, уже возмечтал и Царьград, и Элладу привоевать. А там уже недалече... и Иерусалим прихватить.

– Да, – смеется адмирал. – И его бы туда наместником спровадить.

Собеседники осторожно и сдержанно смеются.

Время идет, час за часом, скоро вечерни...

Тихий говор толпы, ожидающей приема, все гудит глухо под сводами зала в два счета, будто рокот дальнего водопада, сдержанный горами и ущельями.

Курьеры проходят в кабинет без доклада и выходят вновь тотчас же...

Адъютанты вызывают ожидающих в очереди по фамилии или вежливо и смиренно, или важно и гордо, или с таким видом провожают в кабинет иного просителя, как если б он был блоха, попавшаяся им в руки...

Уже много всякого народу побывало за большими дубовыми дверьми и на мгновенье, и на целых четверть часа, и, появившись оттуда то с сияющим, то с мрачным лицом – прошли толпу ждущих очереди и разъехались по городу.

Много сановников еще ждут, а несколько сереньких фи-

гур в дворянских мундирах и много простых офицериков были уже приняты светлейшим. Еще несколько генералов двигаются от одного окна к другому, ни с кем уже не разговаривая и сопя, пыхтя, видимо, злобствуют на публичный афронт. Жди и пропускай вперед всякую сволоку. Недаром сам из смоленских «потемок».

Снова вышел адъютант и позвал господина Саблукова.

Дворянин, давно смявший свою шапку совсем в лепешку от волнения, затрепетал, зашвырялся, оглядывается кругом и будто не понимает, чего от него требуют.

– Господин Саблуков! – снова раздается громче.

Все оглядываются и переглядываются, будто говоря незнакомым: «Не ты ли?»

– Господин Саблуков?! – в третий раз возглашает адъютант, озирая толпу.

– Я-с... – раздалось чуть слышно, будто не из груди дворянина, а будто откуда-то издалече.

Неровными шагами двинулся господин Саблуков к дубовым дверям и исчез в кабинете.

В день Страшного суда Господня, при трубном гласе архангелов, созывающих мертвых восстать из гробов и предстать пред лицом Божиим, – господин Саблуков менее оробеет... Его жизнь вся на ладони, чиста, ни соринки на ней. А праведный небесный суд такой совести не страшен! А здесь ведь иной, земной. А ведь сейчас здесь вот, в кабинете царедворца, решится участь его личная, его жены, семерых де-

тей, восьмидесятилетней матери, родственников, всех чад и домочадцев, даже его нахлебников. Всем на улицу без куска хлеба... Да это куда ни шло! А честь дворянская поругана будет, закон государский осмеян, правда людская поправа пятой ябедника.

И смутно в голове, бурно на сердце, темно в глазах и будто пьяно в ногах серенького дворянина, идущего вынимать свой жребий из рук фортуны, идущего класть свою голову не на плаху под топор, а хуже, обиднее... Класть голову и все головы семьи под случай, под прихоть...

– Саблуков! Преглупое прозвание! – заметил один сановник по фамилии Хантемиров.

– Стариннейшее дворянское! государь мой, – отзывается кто-то.

Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать... «Вона как...» – замечают многие мысленно. Проходит полчаса...

– Скажи на милость?... Важное какое дело! – иронически замечает шепотом генерал Хантемиров.

Выходит наконец из дверей и бежит господин Саблуков... бежит рысью по залу куда глаза глядят, а куда – ему неизвестно. Лицо пунцовое, потное, мокрое... Слезы ручьем льют из глаз, челюсти судорога треплет, а зубы шелкают. А в руках блин-шапка, и он на бегу утирается ею, забыв про носовой платок... По счастью, попал он в двери и на подъезд, а авось до дома доберется.

Светлейший все расспросил, по ниточке дело его разо-

брал, пытал как в застенке и объявил весело:

– Небось, голубчик, все суды вывернем наизнанку. Твое дело правое! Правда при тебе и останется. Мое тебе слово.

А вслед за счастливым дворянином вышел важно курьер с письмом к английскому посланнику, где такая загвоздка Альбиону прописана, что через месяца два-три вся Европа всполошится, даже французские Мараты и Дантоны подождут людей резать и сойдутся на совет.

За курьером вышел адъютант и велел кликнуть к светлейшему капитана Немцевича... Прибежал через минуту капитан с животиком, на коротеньких ножках, кругленький, розовенький, кровь с молоком – просто булка. Пробежал он зал и скрылся...

Тотчас и назад выкатился он из кабинета и весело озирается, будто спросить что хочет. Подошел он к ближайшему, еще не виданному им в столице генералу и, стало быть, приежму вероятно чрез Москву, и вежливо кланяется.

– Виноват, ваше превосходительство. Не изволите ли знать... Светлейшему окажите услугу!.. Где найти самый перворазборный рагат-лукум. Сладсть такая малоазийская.

«Тьфу: глупость какая! – думает генерал, пыхтит и головой трясет. Он случайно знает, где найти, ибо едал и сам этот рагат-лукум, да неприлично совсем об этом тут речь вести. Не за этим он приехал и ждет. – Черт вас подери», – думает он и прибавляет:

– Сожалею, не знаю.

– Перворазборный, удивительного качества, найдете у купца Григорианова в Зарядье, – отзывается самодовольно молоденький сержант.

И видно по глазам масляным, что он его сосал еще недавно, сидя у матушки своей и воспитываясь на вареньях и медах.

– Село Зарядье? Какой губернии и уезда? – спрашивает обрадованный капитан.

– Никак нет-с. Зарядье в Москве, в городе.

– А-а? В самом городе Москве! – восклицает Немцевич.

– Да-с, в Москве, но собственно в городе.

Не сразу питерский капитан понял москвича-сержанта...

И подивился наконец, что в городе Москве есть еще свой город, не в пример прочим городам российским.

– В городе близ Ильинки! – пояснил сержант.

Капитан юркнул опять в кабинет князя и, появившись тотчас обратно, немного менее веселый, стал расспрашивать сержанта: где, что и как... в мельчайших подробностях.

Его светлость отрядил его, капитана, тотчас, не медля нимало, гонцом в Москву привезти пуд сего лукума-рагата. Капитан бодрится, а видно, ему не очень сладко... Сейчас он к приятелю на именинный пирог собирался, а тут собирайся вдруг тысячу с лишком верст отмахать, чтобы доставить малоазийскую сласть.

Пока дело шло об рагат-лукуме, приехал чужеземец в странном наряде, но с орденом и оружием.

Это был грек Ламбро-Качони в своем национальном платье. Он прошел без доклада, стуча бесцеремонно по паркету... Адъютанты князя вились около него, как мухи около меда... Это любимец их барина.

Ламбро-Качони был самый дорогой посетитель для князя, ибо у них было одно общее, дорогое им, трудное предприятие, которое, однако, шло на лад... Дело немаленькое!.. Поднять всех греков, и древнюю Элладу, и весь Архипелаг... весь христианский Восток. Князь был душою дела, а Ламбро – правой рукой.

Но совещались они недолго. Грек только передал последние вести из Эпира и из Крита.

Принял затем светлейший еще с десятков лиц после этого чужеземного вельможи. Но вдруг в зале храбро появился молоденький камер-юнкер, и о нем тотчас доложили... тотчас пропустили...

Адъютант князя появился тотчас в дверях и громко объявил всем ожидавшим еще очереди, что приема больше не будет. Светлейший вызван к государыне и пошел одеваться, чтобы ехать в Зимний дворец.

– Это со мной в седьмой раз! – раздражительно проговорил один статский советник незнакомому соседу.

III

Высокий, пожилой широкоплечий богатырь, в ярком мундире, сплошь залитом шитьем, с плотной грудью, покрытой рядами звезд и крестов русских и чужеземных, двинулся тихо и лениво из кабинета на парадную лестницу... Походка его, с перевалкой, простая, не сановитая и деланная, а естественная и даже отчасти по природе неуклюжая – производила особое впечатление... «Весь залитой золотом, да орденами и регалиями, в камнях самоцветных и алмазах – и так шагает по-медвежь?» Чудится, что добродушный и добросердечный вельможа. С важными и высокостоящими – он и бывает груб, высокомерен и жесток – за то, что они мнят себя ему равными. Но маленького человека он пальцем не тронет, ни с умыслом, ни нечаянно, а будет с ним «свой брат», русская душа нараспашку. Если когда и обругает кого самыми на подбор скверными и погаными словами, так это именно, чтобы милость свою и доброхотство высказать прямее, сердечнее и понятнее для истого россиянина. Обруганный так и засияет от счастья, когда светлейший и его, и всех родственников переберет.

«Великолепный князь Тавриды», лениво и тяжело переступая с ноги на ногу, медленно прошел через весь дворец свой, меж двух рядов своих придворных, живой, блестящей изгородью протянувшихся от зала до подъезда. Подсажен-

ный, почти внесенный на руках в поданную коляску, он двинулся из ворот в поле, за которым вдали, после огородов и пустырей, виднелась рогатка городская.

Будто большое, плотное, яркое облако, сияющее и ослепляющее глаз переливами всех радужных цветов, выползло из ворот и поплыло из Таврического дворца в Петербург. Это свита князя... которая конвоирует его всегда по городу... Всадники в разноцветных мундирах; латники, гусары, казаки, черкесы, гайдуки – бьются кругом. А впереди экипажа и коней, саженьях в пятидесяти, бежит рысью по пыльной дороге десяток скороходов, в красных кафтанах. Они несутся вереницей попарно за длинным и худым арапом, громадного роста и с двухсаженной золотой булавой в правой руке. Будто сам сказочный Черномор открывает шествие почти сказочного вельможи.

Но он сам уныло, тоскливо озирается кругом...

«Подступает, – думается ему. – Идет!»

Да, он прав, действительно «подступает» и впрямь. Вчера еще было на молебне во дворце и вечером на торжестве, которыми поминали его подвиги, прошлые победы и благодарили Господа Бога за... плоды его разума, его воли, его усилий душевных, его деятельности... И все и вся преклонялось, поздравляло, льстило, млея перед ним.

«Не правда ли это, – думал и думает он. – Нужно ли? Дело ли это или безделье? Велико это или мало? Муравей... козявка... Ишь ведь мишурой-то забавляемся! – огладыва-

ет он конвой. – Австралийские попугаи-какаду тоже любят это! – усмехается он, тоскливо и презрительно оглядывая свою грудь, покрытую регалиями. – Им в клетке всегда лоскут притыкают, чтобы пели и говорили забористее».

Он вздохнул, встряхнул головой, будто отгоняя эти мысли.

– Эх, подступает... – полубормочет он под грохот экипажа. – И затем. Что тут разбирать по ниточке. Каждая ниточка – если и распутаешь всю сию паутину как философ, то каждая все-таки, сама по себе, будет тайна великая мироздания, загадка премудрости Всеблагото Творца... И чувствуешь на душе, что сказывается там так: не гадай, не время теперь, обожди. Теперь живи... Кончишь земной путь – тогда все узнаешь как по писаному. А сия книга бытия твоего, и всего, и всех при жизни – катавасия и скоморошество, чего спешешь, вперед заглядываешь, обожди, все узнаешь! И узнаешь-то, с тем чтобы уж не пользоваться. И себе, и другим без пользы. Оттуда не придешь рассказывать: так и так, мол, братцы...

– Тьфу! Будет! Отвяжись! – выговорил князь уже громко, будто обращаясь к собеседнику невидимому, который пристал и всякую дрянь выкладывает ему, тянет грустную да безотрадную канитель.

– Подтяни вожжи!.. Прибавь ходу! Попадья! – крикнул он кучеру нетерпеливо.

Все рванулось и двинулось шибче; застучали колеса, заскакали всадники, зазвенела амуниция, и будто пуше засвер-

кало все на солнце...

«Пожалуй, обидел ведь кучера-то своего Антона, и зря... Чем он попадья? Первый кучер в столице, – думается ему. – Надо поправить. Зачем обижать зря...»

– Эй ты, собачий сын! Что, наш Юпитер все хромает?

– Лучше, Григорий Лександрыч, – отвечает не оглядываясь бородастый кучер. – Я их обеих – и Рыжика, и Евпитера...

– Не Евпитер, чучело гороховое, Юпитер! Ишь ведь вы, скоты, хуже татар и турок. Ей-Богу, вы, псы этакие, иноземных слов совсем заучить и сказывать не можете.

– А на что они нам? У нас свои есть! – отзывается Антон.

Князь Таврический пристально уперся пронизательным, умным взглядом своего глаза в широкую спину Антона и думает:

«Да. Вот. Рассудил. Истинно! Этак бы и нам все государские дела вершить. Памятовать сие изречение Антона. У нас все свое есть. А мы все чужое понахватали. Чужое на стол мечи, а свое ногами топчи! Нет такой пословицы – а должна бы таковая быть!»

– Антон?! – крикнул князь.

– Чего изволишь, батюшка?

– Ты умница, Антон!

– Рад стараться, Григорий Лександрыч.

– Ты умнее меня! Умнее всех сенаторов и советников. Мы все олухи и пустобрехи.

Трясет Антон головой и усмехается, оглядывая коней. Не

в первый раз таковая беседа у него с бариним, с первым вельможей российским, «ахтительным» князем Тавридским, которого он, однако, не смеет назвать «вашей светлостью». Раз навсегда крепко заказано это всей дворне и всем холопам князя:

«Я светлейший, да фельдмаршал, да князь, да тары, да бары, да трынцы-волынцы, да всякия такие турусы на колесах... для вельмож, для дворянства, пуще всего для пролазов сановитых. А для вас я барин, Потемкин, Григорий Александрыч. Смоленской губернии дворянин».

И холопы не дивятся, давно привыкли к доброму барину, сердечному и золотому, но чудею Григорью Лександрычу.

IV

На Дунае, в декабре 1790 года, завершилась взятием Измаила блестящая кампания.

Это была целая серия подвигов русской армии, в рядах которой уже гремели имена героев: Суворова и Репнина. Молодые Кутузов и Платов заставляли уже о себе говорить. С новым годом наступило временное затишье в военных действиях. В феврале месяце князь Таврический приехал в Петербург на побывку. Он думал пробыть недолго, быстро повершить все дела и уехать, но оказалось, что времена наступили для него иные... При дворе был новый флигель-адъютант, двадцатичетырехлетний Платон Зубов, ^[15] приобретавший все большее влияние на государыню и начинавший вмешиваться в дела. Он уже не скрывал своей неприязни к князю Таврическому, боролся с ним и подкапывался под него.

– Пора ему на покой, чтобы и России вздохнуть дать, – говорил он со слов других, более умных. – Надорвал отечество!

Потемкин приехал удалить нового любимца, как уже не раз делывал это прежде, но теперь все более убеждался в его возрастающем значении и силе при дворе. Вдобавок, вокруг Зубова группировались враги Потемкина – а их было немало. И какие враги! В числе их был вновь пожалованный граф

Рымникский, герой Кинбурга и Измаила. Суворов не любил Потемкина. Князь должен был спешить обратно в армию, но все медлил и говорил, что не уедет, пока не выздоровеет и не вырвет у себя больной зуб.

Но «Зуб» смеялся на эту угрозу.

И в самом главном деле, которым жил теперь Потемкин, – Зубов боролся с ним. Князь жил мыслью о продолжении войны с Турцией и умолял императрицу не вступать в переговоры с вновь вступившим двадцативосьмилетним султаном Селимом.^{16} Он обещал в один год полный разгром Османской империи... Зубов противодействовал ему и завел свои тайные сношения с английским и с прусским кабинетами и с Диваном.^{17} Он наконец добился своей цели.

Государыня, тайно от Потемкина, дала предписание Репнину,^{18} замещавшему в армии главнокомандующего, не отстраняться, а идти навстречу могущим впоследствии мирным предложениям со стороны нового султана Селима. И дело уже шло на мир, а Потемкин этого не ведал. Зубов ли становился всемогущ теперь? Или государыня становилась менее предприимчива? Или, наконец, «глас народа» влиял на судьбы России...

Недолго пробыл князь Таврический у государыни, был скучен. Узнал он чрез чтение полученных депеш с курьером из Берлина о многих великих событиях европейских, узнал о новых «пакостях» австрийских относительно его душевно-

го и громадного дела там, за Тавридой, на берегах древнего Босфора, близ Царьграда, родного искони России. Узнал он о бегстве короля Лудовика Французского ^{19} из своей бунтующей столицы и его позорного в дороге захвата, возвращения под стражей и заключения.

«Вон оно что бывает! Потомок Генриха IV, ^{20} Лудовика XIV – в тюрьме! Заключен на хлеб и на воду, по указу портных, коновалов и ветошников!»

И то, что подступало к Григорию Потемкину еще вчера, на молебне в соборе, при всем народе и на пальбе из орудий, которыми торжествовали деяния светлейшего князя Таврического... то уже подступило теперь еще неотвязнее... Хворость эта его... своя, особенная, непонятная...

На этот раз князь приехал к государыне уже заранее несколько расстроенный, и все раздражало его, всякий пустяк волновал, и он все более горячился.

Беседа зашла поневоле о важнейшем вопросе дня. Мир с Турцией. Государыня желала скорейшего окончания кампании, которая уже обошлась государству в шестьдесят миллионов. Вся Россия, все сословия были на стороне царицы, все тяготились этой войной. Успехи беспримерные и блистательные русского оружия позволяли заключить почетный и выгодный мир. Турция была разорена, надломлена. Султан только и мечтал начать снова прерванные переговоры и готов был согласиться хотя бы и на тяжкие, но лишь бы мало-мальски возможные, не позорные условия. Европа вся, а прежде

всех союзник России – Австрия и недавно вступивший на престол император Леопольд^{21} – почти требовали, чтобы русская императрица заключила мирный трактат с султаном, грозя в противном случае, что иноземная лига против нее и за султана пришлет корабли с десантом под самый Петербург. Весь мир желал мира, но война продолжалась. Кто же не хотел и слышать о мире? Князь Таврический.

Он мечтал изгнать совсем магометан из Европы; восстановить Византийскую империю с Царьградом. Или, по крайней мере, создать союз греческих республик, по примеру новорожденного государства, появившегося в Новом Свете, после восстания и отпадения своего от метрополии.

Современники князя Таврического упрекали его в чрезмерном, безумном честолюбии. Пропади все, разорися Россия, лишь бы имя его, как разрушителя Оттоманской империи и истребителя мусульман, прогремело по всему крещеному миру.

– Это не простая война, – восклицал князь, – а новый, российский крестовый поход, борьба Креста и Луны, Христа и Магомета. И чего не сделали, не довершили прежде крестоносцы, то должна совершить Россия с Великой Екатериной. Я вот здесь, в груди моей, ношу уверенность, что Россия должна совершить это великое и Богу угодное дело – взять и перешвырнуть Луну через Босфор,^{22} с одного берега на другой – в Азию!

На этот раз князь волновался, но ничего не отвечал на по-

пытки царицы завести речь о Турции и войне. Он жаловался на нездоровье и отмолчался.

V

Таврический дворец молчит, притаился, не дышит, будто спит мертвым сном среди дня. Уж не выехал ли светлейший князь из столицы опять в Молдавию, на театр военных действий, продолжать крестовый поход.

Нет, князь Таврический в своем дворце, и дворец, как и вчера, полон его придворных, дворовых и служащих. Но все притаилось и молчит.

Двор заперт и пуст. Подъезжающие в золоченых экипажах сановники возвращаются вспять от притворенных ворот.

– Его светлость не принимают.

В швейцарской с десятков гайдуков и лакеев сидят по лавкам и мирно беседуют.

В большой зале, где толпились всякий день просители и ухаживатели, – пусто и изредка звучат только, гулко отдаваясь вверху у карнизов, одинокие шаги какого-нибудь адъютанта или лакея, которым дозволено входить во внутренние апартаменты.

Но за дубовыми дверьми, в глубине залы, которые так знакомы всему Петрограду да памятны хорошо и тем многим провинциалам из дебрей и городов российских, которых приводила сюда своя забота, своя беда... за этими дверьми, в кабинете князя – тоже пусто. Вещи, книги, карты географические, дела, кучи бумаг для подписания – рядом лежат

на письменном столе и на стульях. Тут же, на отдельном осьмиугольном круглом турецком столике-табурете с инкрустацией из золота и перламутра – лежат аккуратно накладенные кучками пакеты, нераспечатанные письма, депеши и мемории – первой важности и, пожалуй, даже мирового значения. Вот письмо с почерком князя Репнина. А он тоже в пределах вражеских на Дунае заменяет князя... Вот письмо посла английского... Ответ на «загвоздку» князя, где дело идет о таком вопросе, от которого пахнет войной России с Альбионом, ^{23} со всей Европой соединенной.

Но пылкий нравом, твердый волей и машистый духом и поэтому легкий на подъем среди кипучей деятельности, разгорающейся все больше от помех и препятствий... русский богатырь, которому политическое море – всегда было по колено, а дипломатия – кукольная комедия, – богатырь этот и духом, и телом уже три дня не выходил в кабинет свой и никого из подчиненных с докладами не принял.

Князя Таврического нет в этом дворце его имени и имени его подвигов.

В горнице, обитой сероватым ситцем, с двумя окнами в пустынный сад, на большой софе лежит, протянувшись, плотный человек в атласном фиолетовом халате, надетом прямо поверх рубашки с расстегнутым на толстой шее воротом. Маленький золотой крестик с двумя образками и ладанкой на шелковом шнуре выскочили и лежат поверх отворотов халата... Босые ноги протянулись по софе и свисли к

полу вниз, одна туфля лежит рядом с ним, другая свалилась на пол.

Три дня уже лежит здесь Григорий Александрович Потемкин... неумытый, нечесаный и только вздыхает, ворчит что-то себе под нос... Спать он уходил два раза на свою кровать, а одну белую яркую ночь пролежал в раздумье на софе до шести часов утра, так и не двинулся, проспав до полудня.

Обед и завтрак ему приносят сюда. Сюда же навевывались и его племянницы. День целый просидела с ним графиня Браницкая. Здесь же он принял с десятков близких людей «благоприятелей», два раза сыграл в шахматы с любимцем и родным племянником Самойловым,^[24] но здесь же принял и прусского резидента, который с фридриховскою настойчивостью требовал свиданья с князем. Немного вышло толку для резидента от приема. Видел он и изучил наизусть образки и ладанки, висевшие на груди князя, но ответа прямого насчет сути последнего предписания, данного князем главнокомандующему Репнину, там на Дунае... ответа резидент не получил!

Князь только мычал пустые фразы, а с ним любезничала за дядю красивая его племянница Браницкая, как бы стараюсь сгладить дурное впечатление.

– *Mon souverain*,²⁰ – говорил и повторял резидент внушительно и по-французски, – тревожится и сомневается ввиду истинно загадочного образа действий князя Репнина, ваше-

²⁰ Мой государь (фр.).

го заместителя в армии.

– Ну, и Христос с вами. И сомневайтесь. И ты, и твой суверен! – промычал наконец князь по-русски. А на переспрос резидента проговорил: – Кранк! Ферштейн зи! Кранк. Ну, чего же? Аллес мне теперь ганц хоть трава не расти.²¹

И князь прибавил по-турецки ругательство.

Резидент, однако, хотя недоумевая, все-таки поднялся и уехал, внутренне возмущенный, обиженный и злобный.

– Варвары! – бормотал он по дороге. – Неодетый... А тут сидит молодая женщина, родственница... Племянница.

Болезнь князя изредка навещала его и была не болезнь, а состояние духа, не объяснимое ни ему самому, ни близким людям. Он сам не знал, что у него.

– Подступает! Идет! – говорил он угрюмо и боязливо, но еще на ногах.

– Пришло! Захватило! – говорил он тоскливо, лежа на диване.

И это подступавшее и хватавшее его за сердце и за голову была непреодолимая, глубокая, страстная полутоска, полужлоба.

Враги находили всегда причину простую и естественную – этого странного расположения духа и этих диких дней, проводимых в халате, наголо, в углу уборной. По их словам:

– Князь злится на Зубова.

– Его дурно приняла царица.

²¹ Болен! Понимаете! Болен... Все... совершенно... (нем.).

– Он завидует новому графу, то есть Суворову, которого наконец на днях произведут в фельдмаршалы.

– Он ломается. Ничего у него нет и не было. С жиру бесится.

Хворость эту сам князь не понимал, но это был очередной недуг, сильный, давнишний – с юношества... И недуг чисто душевный, а не телесный. Иногда, но редко, примешивалось к тяжкому состоянию души физическое недомогание или слабость. Хворость эта приходила как лихорадка, время от времени, и держала его иногда три-четыре дня, иногда более недели. Припадок бывал слабый и очень сильный... Как попадется.

На этот раз князь чувствовал, что хворает сравнительно легче... Меньше томит его и меньше за душу тянет. Все окружающее меньше постыло, сам он себе менее противен и гадок, чем иной раз.

Тем не менее князь послал за своим духовником и приятелем, бедным священником в Коломне.

Отец Лаврентий был любимец князя, именно за то, что – при их давнишней дружбе – священник, имея возможность пойти в гору, отказывался ото всего, что князь ему предлагал. Даже свой приход на другой, более богатый, не хотел он переменить...

– Все тщета... Умрешь – все останется.

– А детям? – говорил князь.

– Да ведь и они не бессмертные! – отвечал священник.

Князь видел в душе отца Лаврентия то же чувство презрения ко всем благам земным, которое было и у него... Но у него оно только являлось сильно во время его странной хворости, а священник был всегда таков и на деле доказывал это.

Отец Лаврентий отслужил в церкви дворца всенощную, при которой присутствовал один князь...

А затем они вдвоем ушли в спальню князя и долго, целый вечер побеседовали... Начав «с самодельной» философии, как называл князь, окончили историей церкви.

И в том и в другом оба были доки. В философствовании священник уступал князю, говоря: «Служителю алтаря и не подобает в сии помыслы уходить!...»

Но в истории церкви он знал не менее князя. История схизмы^{25} была любимым коньком фельдмаршала, как если бы он был игуменом^{26} или архиереем.^{27}

Человек, «власть имеющий», – он мечтал когда-нибудь, хотя вот после разгрома Порты Оттоманской, заняться специально... Чем?.. Ни более и ни менее как воссоединением церквей.

Беседа князя с священником хорошо подействовала на него. Он оживился, унылость сбежала с лица.

Вселенские соборы... привели к спору о пресловутом «filioque»^{28} символа веры западной церкви. Князь незаметно отступил от принятого направления в беседе...

– Нет, князь... Это опять философия у вас пошла... До-

мой пора... Десятый час. Мне до Коломны – не ближний свет.

– Мои кони скоро домчат тебя, отец Лаврентий. Посиди. Ах да, я забыл, что ты ездить... грехом считаешь...

– Не грехом... А баловством, князь. За что зря скотинку гонять. На то ноги даны человеку, чтобы он пешком ходил.

Друзья простились, и князь напомнил духовнику про его обещанье прийти опять чрез несколько дней, захватив сочинение о Никейском соборе... [{29}](#)

VI

На четвертый день, утром, выспавшись за ночь на постели, князь перешел опять в уборную, не умываясь и не одеваясь, и также в халате и туфлях на босу ногу... Ему было легче...

– Что ж. Света не переделаешь. Людей другими существами не заменишь. Глупости и зла не одолеешь. Глупость – сила великая, и с ней даже сатана не справится. С злыми он совладал и от начала века командует ими, а с дураками давно дал себе свою дьяволу клятву – не связываться.

И смеется князь, стоя у окна и оглядывая свежую зелень густого сада.

В полдень явился молоденький чиновник в дверях с кипой бумаг в руках и стал у дверей. Лицо знакомое князю, но мало... Где-то видал.

– Что тебе? – добродушно вымолвил он.

– К вашей светлости, – робко, заикаясь, отозвался чиновник.

– Ты кто таков?

– При канцелярии вашей светлости состою.

– Как звать?

– Петушков.

– Что же тебе от меня?

– А вот... Вот... Простите... Вот...

И, оробев совсем, чиновник запнулся и замолчал. Взглянул он за пагубное дело по природной дерзости, да не сообразил своих сил. Там-то, в канцелярии, казалось не страшно, а тут сразу душа в пятки ушла.

– Ну... Что? Бумаги? Для подписи?

– То... чно... та-ак-с! – заикается Петушков и, как назло, вспомнил вдруг рассказ, что одного такого коллежского регистратора, ^{30} как он вот, князь на Дунае расстрелять велел за несвоевременное появление в палатке с бумагами.

– Тебя кто послал? Правитель канцелярии приказал идти ко мне?

– Никак нет-с. Простите. Виноват. Сам вызвался. Бумаги самонужнейшие, а третий день без движенья лежат.

– Важность! Для бумаги. Бывают люди добрые и вельможи – по годам без движенья лежат. И без ног, и без языка. Это много хуже! – рассмеялся князь. – Ну, давай чернильницу и перо... Да что уж... Так и быть. Пойдем к столу.

И князь перешел в кабинет, где не был уже несколько дней.

– Вишь, прыток, молокосос, – ворчит князь, ухмыляясь. – Дерзость какая... Лезет сам, ради похвальбы... Что ему дела! А похвастать! Либо на чай заработать от тех, кому эти дела любопытны да близки к сердцу.

Петушков положил дела на письменный стол и отошел к дубовым дверям, ведущим в залу. Потемкин сел, обмакнул перо и быстро, узорчатым почерком начал подписывать од-

ну за другой четко и красиво написанные бумаги... Подписывая, он все-таки искоса проглядывал каждую. Были и приказы, и разрешения спешные и важные... Было дело об отпуске сумм на устройство порта в его любимом городе, новорожденном Николаеве;^{31} было дело об отдаче соляного откупа в Крыму графу Матюшкину,^{32} об уплате трехсот тысяч подрядчику и поставщику Дунайской армии... Дело об освобождении из-под ареста офицера, сидящего уже два месяца по его просьбе, за невежливость относительно князя при проезде его по Невскому.

– Ну, вот... Бери... Иди да похвались. В смешливый час попал. А в другой раз не пробуй. Попадешь в лихой час, и от тебя только мокренько останется.

Молоденький чиновник, вне себя от восторга, собрал бумаги и выкатился из кабинета чуть не кубарем. И похвалиться есть чем во всем городе, да и на чай обещано было с трех сторон тому смельчаку, что решился пойти к князю с бумагами попробовать доложить.

По уходе чиновника князь рассмеялся и почувствовал себя совсем хорошо. Он посидел немного, потянулся, а там перешел к турецкому столику, придвинул его к себе и начал распечатывать и читать письма и донесения, давно ожидавшие его здесь.

В нижнем этаже дворца, где помещалась канцелярия светлейшего и где было, помимо чиновников, много и посторонних и важных лиц в гостях у директора, гудел неудержимый

раскатистый хохот.

До кабинета князя было далеко и высоко, и поэтому здесь человек пятьдесят юных и старых хохотали во все горло до упаду. И всякий вновь пришедший или прибежавший на хохот подходил к делам, принесенным чиновником от князя, и тоже начинал хохотать.

На всех бумагах стояла одна и та же подпись рукою князя: «Петушков. Петушков. Петушков».

Между тем была во дворце и новость... От князя отошло! Дворец зашевелился, ожил и загудел.

Князь пробрался, позавтракал плотно и, надев кафтан, сидел в кабинете. Кое-кого он уже принял и весело беседовал. Через часа два уже узнали, что «у князя прошло», что он оделся и принимает.

Во дворце была и другая новость, еще с утра. Вернулся из чужих краев посланный князем гонцом в город Карлсруэ^[33] офицер Брусков. Он исполнил поручение светлейшего и, велев о себе доложить, ждал внизу.

В сумерки князь нозвал офицера.

– Ну, что скажешь? Ты ведь, говорят, из Германии?

– Точно так-с, ваша светлость. По вашему приказанию ездил и привез с собой...

– Что?

– А маркиза.

– Что такое? – удивился Потемкин.

– Вы изволили меня командировать тому назад месяца с

полтора в Карлсруэ – за скрипачом маркизом Морельеном...

– Так! Верно! Забыл! Верно!.. Ну, что ж, привез его?

– Точно так-с! – тихо и с легкой запинкой выговорил офицер. – Привез. Он здесь, внизу, в отведенной горнице.

– Молодец! Где ж ты его нашел? В Карлсруэ?

– Да-с. В самом городе.

– Хорошо играет? Или врут газеты...

– По мне, очень хорошо. Лучше наших скрипачей во сто крат, – отозвался Брусков. – Так возит смычком, что даже в глазах рябит.

– Это что... А не рябит ли и в ушах, – рассмеялся князь. – Тогда плохо дело. А?

– Нет-с.

– То-то. Ну, спасибо. Награжу. Мне его захотелось послушать... В газетах много о нем похвал... Печатают, что божественно играет. Слезы исторгает у самых твердых. Ну, вот, через денек-два послушаем и увидим. Спасибо. Ступай.

Офицер хотел идти.

– Стой. Ведь он эмигрант. Бежал из Парижа? Был богат и придворный, а ныне в чужом краю пропитание снискивает музыкой. Так ведь, помнится.

– Точно так-с.

– И все это правдой оказалось? Ты узнал?

– Все истинно. Маркиз мне сам все сие рассказывал. Всего лишился от бунтовщиков.

– Ну, ладно. Приставить к нему двух лакеев и скорохода.

Да обед со стола. Ступай.

VII

Еще в апреле месяце князь Таврический, после великолепного торжества, данного в честь царицы, которое изумило всю столицу, вдруг снова захворал своей неизъяснимой болезнью – хандрой. Тогда, пробегая переводы из немецких газет, которые ему постоянно делались в его канцелярии, он напал на восхваление одного виртуоза скрипача. Газеты превозносили до небес новоявленного гения. Эмигрант Alfred Moreillen, Marquis de la Tour d'Overst был, по словам газет, невиданное и неслыханное дотоле чудо. Его скрипка – живая душа, говорящая душам людским о чем-то... дивном и сверхъестественном. Это не музыка, а откровение божественное.

Князь тоскующий, то плачущий, то молящийся, то проклинаящий весь мир... задумался над этим известием.

«Вот бы этакое достать и держать при себе, заставлять играть в такие минуты томительного, неизъяснимого отчаяния».

Гениальный виртуоз Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д'Овер, по словам тех же газет, бежал из Франции от разгрома, где погибло все его достояние, даже родной брат был казнен, и разоренный аристократ, чтобы заработать кусок хлеба, ездил по Германии из города в город и давал концерты.

«Послать за ним? Что ж ему лучше: шататься по Германии и гроши собирать или жить у меня на всем на готовом. Обращение обещаю ему по его роду и имени. Царица – покровительница ученых и художников. Коли полюбит, пенсию ему положит. Напишу письмо и отряжу кого посмышленее».

И князь написал письмо, короткое, но сильное, где звал маркиза Морельена в Россию и обещал от царицы и от себя горы золотые.

Малый подходящий, т. е. юркий и смысленый, был у князя налицо – его адъютант Брусков. В полчаса времени Брусков все понял, сообразил и поклялся светлейшему, что разыщет виртуоза маркиза и привезет в Россию самое позднее через два месяца.

Получил Брусков две тысячи червонцев на путевые и всякие издержки да еще тысячу для задатка эмигранту-французу... Но этого мало. Князь узнал, что Брусков пленен барышней Саблуковой, приезжей из провинции с отцом, и мечтает жениться, но тщетно, ибо отец, крутой и гордый, не соглашается выдать дочь за простого офицера без состояния и положения.

– Привези мне маркиза, а я у тебя сватом буду и посаженным вызовусь быть на свадьбе. Посмотрим, как тогда не согласятся. Не привезешь скрипача – не смей и на глаза мне ворочаться.

Счастливый Брусков, ног под собой не чуя от счастья, с легким сердцем и тяжелым карманом, туго набитым золо-

том, простился тайком с предметом своей страсти у общих знакомых и наказал девице-красавице не плакать, а радоваться и ждать его для свадьбы – и выехал.

Теперь ловкий Брусков возвратился и привез с собой кавалера Морельена, маркиза де ла Тур д'Овера. Следовательно, скоро можно посылать светлейшего сватом к Саблуковым.

Брусков, побывав у князя, нацеловавшись вдоволь со старухой матерью, рассказал ей подробно, как он разыскивал в чужих краях эмигранта маркиза.

Много городов объездил он, всюду разузнавая про место нахождения удивительного музыканта.

– И не боялся ты... Побожися... Не боялся? – спрашивала мать.

– Чего же, матушка, ведь немцы такие же люди, как и мы. Ведь они и здесь есть – я чай, не мало вы их видали.

– Так, соколик мой, верно. Люди они то ж. Да ведь здесь они промеж нас... А там-то они у себя... пойми... а ты промеж них.

– Так что же. Все едино.

– Ой нет. Вон иного зверя показывают в клетках иль вот Мишку какого на цепи медвежатник водит. Не страшно ничуть. А попади-ко ты ему в лапы у него в лесу, в его берлоге, что тогда. Так и немцы. Ведь они там у себя, а ты ужходишь чужой человек у них. Ну... Ну! Рассказывай...

Брусков смеялся и весело передал матери в мельчайших

подробностях, как он разыскал наконец маркиза, уговорил ехать с ним в Россию и повез.

Разгорячился юный офицер и, окончив повествование, вскочил вдруг.

– Мне бы, матушка, только бы прислать скорее князя сватом да жениться на моей Оле, а там пропадай моя головушка...

– Зачем? Что ты! За что?

Брусков спохватился... смутился и, молча поцеловав старуху мать, вышел и поехал к Саблуковым.

Здесь ожидала его, к довершению счастья, дивная новость! Отец красавицы, упрямый и гордый, возившийся в столице с судом и подьячими, чтобы спасти от ябедника свое состояние, ни за что не хотел ехать и просить у князя Таврического помощи и заступничества!

– Я исконный дворянин русский, да поеду порог обивать, кланяться временщикам. Нет, дудки! За меня – закон.

Увидя наконец, что он разорен и на улице – исконный дворянин смирился в своей дворянской гордости и пошел к князю... но порог обивать ему не пришлось.

После смущения и робости в приемной светлейшего, он получил слово Потемкина, что все будет сделано по справедливости и по закону.

Стало быть, теперь барышня Саблукова будет даже богатой невестой!

Приезжий нежданно в Россию, прямо во дворец князя Та-

врического, кавалер Морельен и маркиз де ла Тур д'Овер сидел внизу, в горницах, отводимых для гостящих у князя родственников и благоприятелей из провинции. Маркиз был окружен по указу князя и всеми удобствами и почетом. Даже особая четверка цугом и карета была в его распоряжении. Маркиз уже три раза выезжал и видел всю столицу, был у обедни и в гостях у своего католического пастора. Сидя у себя в сумерки и вечером, он постоянно играл на скрипке, и все кругом – чиновники и люди, даже арапы и калмычки – заслушивались игры маркиза. Калмычат, прикурнувших в коридоре близ дверей его горницы, отогнать было нельзя.

Маркиз был человек лет двадцати пяти, высокий, красивый, с южным типом лица, чернобровый, с карими глазами и задумчивым взглядом. Было, однако, иногда в глазах его что-то странное... Глаза бегали, косились беспокойно... Но определить эту особенность лица трудно было бы. Точно он будто по пословице обеспокоен: «Знает кошка, что мясо съела!» Может быть, там у себя в отечестве совершил какое преступление да и дал тягу... А стал говорить, что эмигрант и от революции бежал; газеты и поверили и на весь мир оповестили. Может быть! Но вряд ли...

Кой-кто из чиновников князя, понимавших по-французски, уже познакомился с маркизом и бывал у него и днем и вечером. Он охотно играл и с улыбкой самодовольства принимал похвалы себе и своему дарованию. Вдобавок оказалось, что он отлично говорит по-немецки, а так как язык этот

был очень распространен в Петербурге, то и в канцелярии князя многие знали его... Нашлись живо у маркиза и собеседники... Он был веселый и болтун и рассказывал им многогоречиво про свой дворец в Париже, про двор короля Людовика и балы и торжества, про революцию, про свое разорение, бегство.

– Нас теперь много в Германии! Во всех городах есть эмигранты, и все бедствуют. Уроки дают, лавочки заводят и торгуют чем попало, больше нюхательным табаком. Мой кузен виконт де ла Бар живет особым талантом. Силуэты делает. Как? Да вырезает из черной бумаги портреты – и одно лицо и во весь рост, миниатюры делает. И я умею.

VIII

Князь всякий день собирался призвать маркиза – расспросить, заставить сыграть, но за недосугом все откладывал. За время его хворания накопилось столько дела, спешного письма и вообще занятий государственной важности, что он почти не выходил из кабинета, переходя от письменного стола на диван, где принимал обыкновенно всех имевших до него дело, нужду, просьбу... А таких было много. Брусков всякий день нетерпеливо ждал свидания маркиза с князем. Нетерпение его росло с часу на час. Он волновался и видимо истомился. На расспросы матери о причине его волнения он объяснил, что смущен мыслью, как маркиз Морельен понравится светлейшему.

– А тебе-то что же? – удивилась Брускова. – Ты привез по указу. А ты не ответчик за него, коли он не так, как следует, завозит смычком, завозит по скрипице.

– Ох, матушка. Играет он бесподобно. Я его уже казал здешним музыкантам. Они все от него ума решились. Райской птицей прозвали его скрипку.

– Ну и слава Богу!

– А вот то-то... Слава ли Богу-то... Еще неведомо...

Однажды вечером Брусков, по просьбе матери, привез к себе на квартиру маркиза со скрипкой. Все семья Саблуковых, отец, мать и возлюбленная офицера, Оля, были пригла-

шены на вечеринку с музыкой. А помимо их до десятка сослуживцев с женами и дочерьми...

Маркиз был очень весел и говорлив с теми, кто понимал хоть малость два ему известных языка, но больше и охотнее он болтал с теми, кто говорил по-немецки. С дамами он был очень любезен, хотя несколько и неприличен. Одну молодую даму он, шутя конечно, взял за ушко. Она сконфузилась. Муж было обиделся, но Саблуков, и в особенности Брусков, убедили всех, что с иностранца нельзя требовать того же, что с своего брата русского.

– У них во Франции, – заметил хладнокровно Саблуков, – может быть, это почитается за сердечное изъяснение своих чувств.

– Вестимо! – горячился Брусков. – Я вам отвечаю, что он обидного чего в мыслях не имел.

Маркиз, напившись кофе, наевшись плотно яблоками, орехами и вареньями, сыграл несколько пьес, больше все наизусть и как бы просто из головы своего сочинения. Гости заслушались и млели весь вечер. Даже любимая собака хозяйки, Жучок, смиренно сидела в углу, наострив уши на гостя.

– Не музыка, а колдовство, – решила Брускова, – с нечистым снюхался просто.

– Не играет, а поет. Заливается соловьем. Впрямь диво! – восклицал один гость.

– Ах, ракалия!^{34} Ах, ракалия! – восторгался тихо другой гость.

– Эта посылочка почище моего рагат-лукума, – говорил драгунский капитан, уже съездивший в Москву и доставивший князю пуд малоазиатской сласти.

Вечеринка вышла на славу. Один Брусков только тогда успокоивался, когда маркиз был со скрипкой в руках, но как только он освобождался и вступал в беседу с кем-либо, – Брусков настораживал уши и глаза.

Почему он это делал – мать его замечала, но не понимала. Французский дворянин был, по ее мнению, пречудесный, презанятный кавалер.

В конце вечера случился, однако, странный казус, и неприличный, и смешной.

Все сидели за ужином, весело болтали, смеялись... маркиз не отставал от других. Его угощали на отвал, подливали всяких вин, а заметя, что он на вино крепок, выпил больше всех, а «ни в одном глазу», – стали потчевать еще пуще. И кавалер Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д'Овер не устоял и напился. Все бы это ничего. Хозяин и гости сами же виноваты были – спаивали. Но подгулявший маркиз вдруг начал хвастаться своими познаниями... Оказалось, что он маракует даже по-латыни, по-гишпански и по-турецки и знает немножко и по-русийски.

– По-нашему?! – воскликнули гости. – По-русски?

– Да, – отвечал подпивший маркиз, – по-вашему, – и начал сыпать отдельными словами, польскими и русскими. Брусков сидел угрюмый и беспокойно глядел на своего гостя.

Однако у маркиза хмель прошел живо – крепок он, видно, был на питье – и он объяснил публике, что его родитель покойный, озабочиваясь его воспитанием, приставил к нему с детства десятка с три учителей разных наций. От них-то он и научился понемножку всем языкам.

Гости только изумлялись, какое воспитание дается в чужих краях.

Когда пришлось вставать из-за стола и все поднялись, шумя стульями, и весело подходили благодарить хозяйку, маркиз не двинулся со стула и озабоченно шарил под столом... Затем он взял свечу, нагнулся и ахнул...

– Lieber²² Брусков, – завопил он отчаянно по-немецки. – Помогите... Неожиданное приключение. Господа, кто это из вас пошутил!

И он прибавил по-русски, обращаясь ко всем гостям:

– Государь, коханный. Отдавай. Не карош это. Отдавай!

Оказалось, что маркиз сидит в одном сапоге; другого не было ни на ноге, ни под столом.

Все мужчины, изумляясь и со смехом, начали искать сапог, но его не было нигде.

– Да он его сам снял? – спросила Брускова, прося перевести вопрос гостю, но маркиз понял и отвечал по-русски:

– Сам. Сам. Права сапога моя...

– Ну так его Жучок истрепал! – решила хозяйка. Жучок, легавый щенок, любимец Брусковой, был известен даже в

²² Дорогой (нем.).

околотке, как истребитель кошек и обуви. Кошек он ненавидел, гонял, ловил и загрызал, а сапоги, башмаки и туфли обожал до страсти и всякий день приносил домой изгрызанные голенища, подошвы и каблуки, остатки его охоты по соседям.

Догадка хозяйки тотчас и подтвердилась: в углу гостиной нашли Жучка, усердно и мастерски разрывающего сапог маркиза на мельчайшие куски...

Смех, разумеется, гудел в доме... Маркизу уже принесли другой сапог хозяина, который оказался узок, но виртуоз, морщась и охая, все-таки напялил его, ворча и посылая к черту глупую собаку.

Некоторые гости, однако, качали головами и перешептывались. Дворянин Саблуков находил, что снимать сапог под столом за ужином в гостях совсем неприлично.

– Невежество это, как хотите! – говорил он Брускову вполголоса.

И офицер смущался.

– Может, у них там это про обычай! – заметил капитан, гонец за рагат-лукумом, хохотавший больше всех от приключения.

– Не может сего быть! Это вольность с нами. Что же он нас не за дворян почитает. У себя бы в отечестве он этого сделать не отважился.

И умный Саблуков решил, что маркиз Морельен зазнался в России, благо помещен во дворце князя Таврического, и

смотрит теперь на русских людей, как на дрянь, не стоящую вежливого обращения.

– Да зачем, спроси ты, он снял сапог? – приставала хозяйка к сыну, стараясь обвинить гостя, а не любимца Жучка. – Колдовал он, я боюсь, у меня под столом.

– Какое тут, черт, колдовство, матушка, – сердился Брусков. – Скотина он невоспитанная. Вот и все!..

Спрашивали маркиза, зачем он снял сапог. Он жался и объяснял на разные лады.

Гости разъехались, обещаясь Брускову не оглашать казуса, а себе обещаясь наутро разнести по городу повествование об изгрызенном сапоге маркиза.

– Зачем вы сняли сапог? – сказал Брусков, провожая гостя. – Если вы это сделаете где-нибудь, вас пускать к себе не будут.

– Отчего? – изумился маркиз. – Никто бы и не заметил ничего, если бы не скверная собака.

– Да зачем вы сняли? – загорячился Брусков.

– У меня мозоли. А сапоги новые. Странные вы люди, mein Gott!²³ – вдруг обиделся маркиз.

²³ Мой Бог! (нем.).

IX

Наконец князь однажды утром потребовал к себе маркиза Морельена. Музыкант смутился, съежился и, бросившись одеваться в свой самый лучший кафтан и камзол, торопился, рвал пуговицы и парик надел набок.

Маркиз, эмигрант и придворный короля Людовика XVI, был настолько сильно взволнован, что достал из шкатулки флакон с каким-то спиртуозным и крепким снадобьем и стал нюхать, чтобы освежить голову и привести свои мысли в порядок.

Дело в том, что маркиз Морельен, уже освоившийся со всем и со всеми во дворце, начинал уже давно смущаться при мысли предстать пред могущественным Потемкиным.

Разные важные сановники, приезжавшие к князю и которых он видел из окон своих комнат, выходящих на подъезд, как бы говорили ему:

– Мы важные люди, а он еще важнее и выше нас. И если эти так надменны и строги, горды и неприступны, то каков же он... к которому они приезжают скромными просителями. Что же он?.. Гигант! Колосс! Земной бог!

И душа маркиза ушла в пятки. Он оделся совсем; поправил на себе парик, переменил сапоги на чулки и башмаки для большего парада... и не шел... Боялся присылки второго гонца от князя, его недоумения и гнева... и все-таки не шел.

Он ждал прибытия Брускова, за которым погнал своего скорохода.

Брусков влетел наконец верхом во двор и почти прибежал в горницы маркиза.

– Позвал? Зовет?.. Ну?.. Когда?.. – закидал он вопросами привезенного им аристократа-виртуоза.

Волнение Брускова было не менее смущения маркиза.

– Ну что ж, Бог милостив? – воскликнул он. – Помните только одно. Поменьше храбрости. Потихе. Посмирнее...

Маркиз грустно развел руками, как бы говоря, что смиреннее того, как он себя теперь ощущает, – быть никак нельзя. Брусков, внимательно оглядев его, подумал то же.

– Да... Ошибло его... Присмирел. Где тут храбрость! Ноги трясутся. Отлично!

И офицер вздохнул свободнее.

– Слава Богу! – подумал он. – В этом виде мой маркиз ничего. Боюсь только, как обласкает его через меру князь, – ну и зазнается и испортит все... Ну, Господи сохрани и помилуй! Пойдемте.

Бодро, но молча прошли весь дворец и маркиз, и офицер, но двери кабинета переступили оба ни живы ни мертвы...

– Помяни Господи царя Давида ^[35] и всю кротость его... – шептал Брусков и перекрестился набожно.

Вся его судьба, вся жизнь, женитьба, счастье, будущность, розовые мечты и сокровеннейшие надежды – все это зависит от этого свидания, все сейчас может прахом рассыпаться.

Князь сидел за письменным столом и работал; он встал навстречу, улыбаясь, протянул музыканту руку и что-то заговорил на французском языке. Брусов все видел и слышал, но ничего не понимал и не чувствовал, у него в голове будто привесили соборный большой колокол и трезвонят во всю мочь.

Маркиз жался как-то, ежился, странно, не понимая, откуда только у него вдруг дишкант взялся со страху, и в ответ на любезности князя отвечал только:

– *Oui, Altesse! Non, Altesse... Votre serviteur... Altesse...*²⁴

Altesse нравилось князю, и он, любезно усадив маркиза, продолжал свои занятия и стал рассеянно расспрашивать его о последних событиях во Франции, о положении эмигрантов в чужих краях. Но разговор шел худо, так как князь все более и более углублялся в письма и бумаги, которые переглядывал.

– Переведи! – услышал вдруг Брусов приказание князя и точно проснулся вдруг и стал понимать окружающее. И он, отлично, до тонкостей зная французский язык, начал сначала робко, а там все бойчее помогать князю в беседе, в некоторых выражениях.

– Какой конфузливый твой француз, – заметил наконец князь. – Да еще пришепетывает...

– Он, ваша светлость, действительно... Да и вас оробел.

– Понимаю, братец. Да ведь он в Версале да Трианоне ви-

²⁴ Да, высочество! Нет, высочество... Ваш слуга... высочество... (фр.).

дал немало всякой всячины.

– Он таков от природы робкий. Сам мне признавался! Да, кроме того, он говорил, что с важными людьми, вельможами он приобвык, «свой брат» они ему. А с умными людьми ро-беет, боясь за глупца прослыть. Об вашей светлости он на-слышался еще в Германии.

– Что ты плетешь! – добродушно рассмеялся князь. – Что ж вельможи-то французского двора все дураки, что ли?! А он, по-моему... должно быть, не у себя... На чужой стороне.

И князь встал, любезно, даже ласково-фамильярно отпу-стил маркиза и сказал, что вечером попросит его показать свой талант при двух-трех лицах из его приближенных.

– Пронесло! Слава тебе, Создателю! – восклицал Брусков чуть не на бегу и едва поспевая за весело летевшим по двор-цу маркизом.

Живо вернулись они в горницы.

– *Ganz einfach!* – повторял сразу раскуражившийся мар-киз, потирая руки в удовольствии. – А по-латыни *Simplicitas! Sancta simplicitas!* А по-турецки: Буюк терчхане! А по-фран-цузски: *Courage, mon garcon!*²⁵

– Да, все слава Богу! Но помните, – уговаривал его Брус-ков, – держите себя как вот сейчас. А если вы расхрабритесь – тогда пропало. Вы все потеряете. А про меня и говорить нечего! Я тогда несчастный на всю жизнь!

²⁵ Совсем просто (нем.). Простота! Святая простота! (лат.) Смелей, мой маль-чик! (фр.).

Ввечеру князь не прислал за музыкантом.

Прошло еще два дня, а маркиз и Брусков напрасно ждали. Князь был занят и озабочен и все переписывался, гоняя скороходов и верховых, с английским резидентом, который скзывался больным. Он не ехал к князю и на предложение Потемкина посетить его отвечал, что не может решиться принять такого вельможу в постели.

– Ах, шельма эдакая! – досадливо восклицал князь. – Нечего делать. Я тебя пробомбардирую письмами и цидулями. Все равно не отвертишься у меня!

На третий день князь велел звать маркиза со скрипкой. Брусков снарядил приятеля и чуть не перекрестил, отпуская теперь одного в кабинет князя.

– Бога ради... Бога ради... – молил он маркиза. – Помните... Смирнее...

Маркиз клятвенно обещал быть тише воды, ниже травы, обещал не говорить, а только отвечать на вопросы, не смеяться, ничего не спрашивать.

Сдав маркиза двум камер-лакеям, Брусков остался внизу и сидел как на угольях; раз с двадцать его то в пот ударяло, то мороз по коже пробирал.

Наконец маркиз явился сияющий и глянул на Брускова, – как большой водолаз может глянуть на новорожденного котенка.

«Что это, мол, за мразь такая тут».

Маркиз был важен, горд и взволнован.

Князь остался в восторге от его игры... Князь его обнял и расцеловал. Князь даже слезу раз утер... Ну, чего еще!..

Маркиз поднял скрипку над головой и воскликнул:

– Я этим мир к ногам моим приведу. Я всегда это знал и чувствовал. Но мне нужен был случай. А что в моей труппе могло мне дать этот случай? Но вот теперь звезда моя поднимается, поднялась, сверкает и не затмится вовеки. Умру я – и все-таки здесь, в России, а может быть и во всей Европе, имя мое останется и будет греметь в потомстве; будет отец сыну и сын внуку передавать.

– Да будет вам болтать! Скажите... Графиня Браницкая как с вами обошлась? Самойлов как обращался?

– Их никого не было.

– Князь был один?!

– Один.

Брусков подпрыгнул от радости, а потом тотчас и пригрюнился.

– Да. Но ведь в другой раз может позвать и при гостях. Не говорил он вам, когда он вас наградит и отпустит обратно?

– Нет. Он меня оставляет при себе, – гордо отозвался маркиз. – С собой возьмет и в лагерь в Молдавию.

Брусков замолчал и задумался.

– Ах, только бы мне успеть жениться, – прошептал он наконец, – а там мне все равно. Ведь не снимет же голову.

X

Вскоре после этого, однажды вечером, вокруг Таврического дворца горели смоляные бочки и плошки, а улица была запружена народом. На фасаде дворца сияла огромная звезда из шкаликов.^[36] Ярко освещенный двор переполнился громыхавшими экипажами, и ежеминутно прибывали и выходили на подъезд гости – мужчины и дамы.

Расставленные цепью по дороге, по всему полю от дворца и до рогатки города, скороходы перекликались весело... Наконец у рогатки громко крикнул чей-то голос два слова. И эти два слова будто побежали по полю, перебрасываясь от одного к другому, и быстро достигли дворца, народа толпившегося, швейцарской, наконец, приемных, и гостиных, и кабинета самого хозяина.

– Государыня выехала.

У князя был маленький званый вечер, на котором должна была присутствовать запросто сама монархиня, ради того, чтобы видеть необыкновенного новоявленного виртуоза скрипача, добытого князем из чужих краев. И много в Петрограде в этот день вельмож и сановников было обижено, или огорчено, или взбешено. Всякий считал своим правом ожидать приглашения в Таврический дворец, а этих претендентов оказывалось так много, что маленький вечер превратился бы в огромное, многолюдное собрание. А этого не мог

допустить князь, ибо не желала государыня. Были приглашены только самые близкие люди, «благоприятель» и, конечно, родня князя, но и родня родни. И все-таки двор оказался переполнен экипажами, и большая гостиная едва вмещала разряженных гостей, чинов двора, генералов, дам и девиц. Явившихся было все-таки до сотни лиц. И все они сияли и одеждой, а еще более лицами, чувствуя себя «избранниками» из столичного общества.

Любимица князя, графиня Браницкая, принимала гостей в качестве хозяйки своего холостого дяди. В числе дам была, конечно, и красавица Альма Тален...

Только одну царицу принял сам светлейший, сойдя на подъезд к ней навстречу, когда карета ее была еще в улице и длинный цуг белых коней заворачивал в ворота, озаренный огнями плошек и сверкающий своей белизной и золотой сбруей.

Скоро все гости сидели молча в рядах стульев, среди малой залы, освещенной наполовину ради придания интимного характера вечеринке в Таврическом дворце. Государыня в переднем ряду была почти не видна гостям за узорчатой спинкой огромного готического кресла, купленного князем в Вартбурге. Князя уверил продающий ему это кресло, что на нем сидел главный судья, когда-то судивший Лютера. ^[37]

Около государыни, рядом на стуле, сидел хозяин, а несколько отступя назад поместился постоянный спутник царицы, ее новый флигель-адъютант, Платон Зубов. На его

нежное, женственное лицо, тонкий, красивый профиль и сверкающий бриллиантовый аксельбант – и было теперь наиболее обращено внимание гостей, в особенности девиц. «Почем знать», – думалось каждой.

Впереди, пред креслом царицы, в приличном отдалении, стоял стул, столик с инструментом и пюпитр с нотами.

Публика ждала уже с пять минут... Государыня тихо разговаривала с подошедшим к ней, ее же секретарем, – хозяин начал уже оборачиваться и поглядывать на дверь, из которой ждали виновника собрания.

Наконец в зале появился маркиз и нетвердыми шагами приблизился к пюпитру. Князь хотел встать, подойти к виртуозу и заметить ему, что он должен был явиться заранее и быть на месте прежде государыни и гостей, но, взглянув на своего маркиза, Потемкин чуть не ахнул.

Маркиз был бледен как полотно, глаза его горели лихорадочным блеском, губы побелели, и какая-то гримаса, будто судорога, передергивала черты лица. А вместе с тем, благодаря этой мертвенной бледности и, может быть, еще и тому обстоятельству, что на нем был простой и изящный костюм, темно-фиолетовый кафтан, матово-желтый камзол, оттенявший его лицо, казавшееся еще блее, маркиз был очень в авантаже^{38} и казался еще красивее. Публика одобрительно встретила его появление. Все заметили:

– Какой красавец!

Государыня заметила бледность и смущение виртуо-

за-эмигранта и сказала что-то хозяину.

– Обойдется! – отвечал князь, улыбаясь. – А не обойдется – вы обласкаете. И от одного вашего чудодейственного слова все к нему вернется: и чувство, и разум, и гений.

Маркиз, взявший скрипку и смычок, прилаживался, но руки его заметно дрожали. Он наконец двинул смычком и начал играть... и сыграл, и кончил...

Молчание было ответом.

Ничего! Так себе! обыкновенный скрипач. Эдаких в Питере десятков своих доморощенных! – думали и говорили теперь гости. Государыня покачала головой и вымолвила Зубову:

– Надо его ободрить. Il a perdu son latin.²⁶ Пойдите. Поговорите с ним. Обласкайте.

Зубов встал и, подойдя к маркизу, заговорил с ним по-французски. Virtuoz постепенно несколько ободрился, отвечал и стал смотреть храбрее. Он глянул в первый раз на государыню, присутствие которой до сих пор чувствовал только, но еще не видал, боясь поднять на нее глаза... Она ласково улыбалась, милостиво глядела на него.

Она совсем не то, что он воображал.

«Она добрая!» – думает маркиз.

И маркиз ободрился совсем и уже бойко отвечал Зубову и тоже подошедшему к нему хозяину.

Флигель-адъютант, исполнив приказание, вернулся на

²⁶ Он выглядит потерянным (фр.).

свое место.

– Видите, как оправился, – сказала государыня. – Теперь услышим иное...

Князь еще говорил с виртуозом и добродушно смеялся. Зубов, пользуясь минутой, наклонился к государыне и шепнул, насмешливо улыбаясь:

– *Ce n'est pas un francais.*²⁷

– Как? Это эмигрант. *Un marquis francais. Morreillen de la Tour de...*²⁸ Дальше не помню.

– *Emigrant peut-etre... Marquis – plus ou moins... Francais – jamais!*²⁹ – проговорил Зубов. – Кажется, совсем не парижский выговор.

– От робости...

В эту минуту Потемкин вернулся на место и сказал:

– Я его совсем разогрел... Теперь сыграет!

²⁷ Он – не француз (фр.).

²⁸ Французский маркиз. Морельен де ля Тур... (фр.).

²⁹ Эмигрант – возможно... Маркиз – более или менее... Француз – никогда! (фр.).

XI

Виртуоз взмахнул смычком и взял несколько аккордов. Затем он медленно обвел глазами все общество. Быстро, искоса глянул на государыню, пристально поглядел на князя, улыбнулся вдруг как-то странно, почти грустно, и, припав головой к скрипке, повел смычком.

Он начал маленькую вещь... Сонату... Простую свою...

Его мать любила ее слушать. Ей всегда играл он ее, когда ему было еще двадцать лет... Когда и она, и он бедствовали, почти голодали, а в холодном доме всегда бывало тихо, уныло... Рассвета не виднелось в жизни... Она так и скончалась однажды под звуки этой ее любимой сонаты и отошла в тот мир тихо, покорно, безро потно... «Как ему-то здесь будет без меня?» – шепнула она.

Смычок сам двигался по струнам, привычные пальцы шевелились сами... Артист был всем существом в иных пределах, а не в зале Таврического дворца.

Он провожал тело матери, в грошовом деревянном гробу, на даровое помещение городского кладбища, где хоронят самоубийц и безвестных мертвецов, найденных на дорогах, проходимцев и бродяг... Два крестьянина стащили гроб в яму, опустили – зарывают... Зарыли. Ушли. Он стоит один... Он пойдет теперь назад домой – один... И будет весь день, весь год, всю жизнь – один и один... Весь мир кругом

него глядит и молчит бестрепетно и безучастно. Ни света, ни тепла, ни радости, ни улыбки для него нет... здесь все зарыто... И навеки! Все кончено...

В зале наступила тишина и длилась несколько мгновений. Звуки музыки замерли, а гости еще явственно слышали их на себе или внутренне вызывали их опять, ожидали вновь.

Наконец молчание перешло в шепот, а шепот в оживленный говор.

– Я не ожидала этого... – проговорила государыня тихо, и в голосе ее было чувство – была слеза.

Она что-то пережила вновь из прошлого, полузабытого и пронесшегося сейчас перед ней в этой зале бледным призраком. Но от этого грустного призрака повеяло тоже чем-то иным – дальним, ясным, светлым, молодым...

«А-а! Что? Присмирели! – думает артист, оглядывая публику. – Вы съехались и сели слушать потому, что обещал играть вам равный аристократ, маркиз... А если б явился в Петербург бедный шляхтич, голодный и босоногий, и заиграл так же... Вы бы его и со двора гнать велели. „Что может быть хорошего из Назарета...“»

А из Назарета вещий голос и раздался, и все ему поклонилось...

И виртуоз снова поднял смычок и будто злобно рванул по струнам. Мысль его руководила смычком.

«Маркиз?! Аристократ?! Нет! Выше маркизов! Простой нищий-артист! Творец. Да. Творец, созидающий из ничего

– из сочетания дерева и бычачьих жил – целый мир. Вызывающий из глупой деревяшки и веревочек целое море бурь, чувств, страстей, волшебный поток, захватывающий сердце людское и увлекающий его в те таинственные пределы, куда разум никогда не проникнет... И в этот миг я помыслом, сердцем, душой в моих небесах, а лишь пята моя на земле, и ею топчу я вас во прахе земном...»

Бурной страстью, всепожирающим огнем и неукротимой дикой силой дышало от новой блестящей импровизации виртуоза. Слушатели будто почували все то, что вдруг забушевало в душе артиста и порывом вылилось в звуках. Это был вопль злости и отчаянья, проклятие могучего и горячего сердца, разбитого жизнью и людьми... Виртуоз кончил и недвижно стоял и молчал, не подымая глаз на гостей... Что они ему? Он забыл об них! Он еще не вернулся с своих небес к ним на землю...

Но вдруг зала огласилась громкими, дружными рукоплесканиями, артист вздрогнул и вздохнул – и сошел на землю...

Он стал кланяться и улыбаться деланной улыбкой. Хозяин встал и подошел к нему, в восторге протянул руки и благодарит.

«Ведь это он, могущественный вельможа, от которого зависит все...» – думает музыкант и окончательно приходит в себя и вмиг становится – тем, что он и есть. Обыкновенный смертный, жаждущий пристроиться и иметь кров, кусок хлеба обеспеченный и средства к пользованию всеми благами

этой мелкой жизни, которую он сейчас клеймил сердцем и которую он тоже любил своим обыденным разумом бедного музыканта.

Государыня между тем поднялась с места, и все зашевелилось и зашумело, поднимаясь тоже. Хозяин бросился к монархине, но по ее слову снова вернулся к маркизу, взял его за руку и повел... Он представляет аристократа-эмигранта, придворного французского короля – русской монархине.

– Marquis de Moreillen de la Tour d'Overst...

Маркиз смущенно низко кланяется, красивое лицо его покрывается наконец ярким румянцем, и глаза блестят довольством и счастьем.

Монархиня чистым французским выговором спрашивает его – спаслись ли все его родственники... Давно ли он посвятил себя искусству и развил в себе обворожительный талант.

Маркиз отвечает на вопросы сначала робко, односложно, потом все смелее.

У императрицы понемногу морщились брови.

– Вы ведь природный француз? – вдруг спрашивает она с царски упорным взглядом, строго устремленным в его лицо.

– Вы говорите по-немецки? – спросил Зубов.

– Точно так-с, – сразу смелее и самоувереннее отзывается маркиз.

Государыня, улыбаясь несколько загадочно, взглядывает на своего флигель-адъютанта.

Зубов откровенно рассмеялся и заговорил с маркизом...

Речисто, свободно и даже бойко заболтал маркиз...

Милый язык ее любимых поэтов и философов, язык Гете и Шиллера, Лейбница^{39} и Канта...^{40} этот язык был в устах маркиза-виртуоза изуродован, обезображен. Он залопотал на нем, а не заговорил... Что же это значит?.. Кого? Какую речь? Чье произношение напомнил он ей вдруг?..

И наконец государыня вспомнила, слегка рассмеялась... и двинулась из зала... Хозяин и Зубов пошли за ней, провожая до кареты. Часть гостей перешла в гостиную отдохнуть... Другие подошли к музыканту, расспрашивали его и, обступив его, стояли кучкой среди высокой залы впереди опустевших рядов стульев. Он был доволен, счастлив, но это был уже не тот человек, который играл здесь за минуту назад... Это был болтливый, дерзкий, самодовольный и самоуверенный чужеземец сомнительного происхождения.

Государыня ласково простилась с князем, но выговорила: – Ну, спасибо, Григорий Александрыч, за музыку... да и за машкерад...

Зубов усмехнулся едва заметно, но князь видел, слышал и слегка побледнел.

Через несколько мгновений князь, суровый, медленно явился в залу.

Гости собирались снова усаживаться на свои места...

Через час Таврический дворец был пуст и темен. Гости разъехались, Маркиз-виртуоз сидел у себя внизу и хвастался пред Брусковым, лихорадочно его порождавшим целый час,

и рассказывал о своем успехе, комплиментах императрицы, о восторгах публики...

– Отчего же князь, говорят, вернулся темнее ночи? – смущенно заметил Брусков.

– Это не мое дело!.. – решил музыкант, вне себя от всего испытанного за вечер.

Князь между тем сидел у себя, один, угрюмый и задумчивый. Он думал.

– Позвать его! Допытать!.. – прошептал он и потряс головой. – Нет, завтра. Пусть спадет. Теперь нельзя...

XII

Поутру, проснувшись, князь молча оделся и, выйдя в кабинет, задал себе вопрос:

– Кто же из них виноват? Оба или один – и который... Вернее всего оба!

Приключенье это его сердило и волновали более обыкновенного. Случай простой и даже смешной. Надо бы смеяться – и ему первому... Но все так повернулось, что он, богатый врагами и завистниками, как никто, станет посмешищем столицы. Дураком нарядят.

И все переиначут, раздуют, разукрасят и разнесут по городу – невесть какую фантазмагорию. Никакая Шехеразада не смогла бы измыслить того, что сочинят теперь его враги и расскажут. А Зубову на руку. Да шутка ли! Старый, в шестьдесят лет, представил у себя во дворце русской царице... Кого же?... Проходимца! Самозванца! Может быть, даже беглого!.. Царице русской!.. Он!

– Убью! Ей-Богу! – вздыхает князь, в волнении двигаясь по кабинету.

Раз десять собирался он позвать лакея и потребовать к себе Брускова, который был уже им вытребован с квартиры и ждал. Но каждый раз князь отлагал вызов, решая обождать.

– Пусть спадет...

Князь знал по опыту, что гнев его опасен... для его же

репутации. А когда первый порыв пройдет, «спадет» – он может владеть собой.

Он сел и стал читать толстую книгу в переплете, на которой были вытиснены крупные золотые буквы: «Фукидид». ^[41] Прошло около часу. Князь кликнул лакея.

– Поаови Брускова.

Через четверть часа раздались шаги в зале, отворились двери и на пороге показался Брусков... Глаза его сверкали и тотчас впились в князя.

Но глаза князя тоже упорно и зловеще впились в лицо Брускова.

Офицер побледнел.

– Как зовут твоего музыканта? – выговорил князь глухо.

Брусков хотел отвечать, но не мог. Наступило молчанье. Слышно было, как Брусков дышит.

– Ну, слышал? Как его зовут...

– Маркиз Морельен... де ла...

– Ах ты... мерзавец! – вдруг крикнул князь и, поднявшись, с книгой в руке, двинулся к офицеру.

– Простите... – пролепетал Брусков, дрожа и зеленея.

– Его имя! Ну...

– Шмитгоф... – шепнул офицер через силу.

– Шмитгоф! – шепнул и князь. – Славно!..

И, не сдержав порыва, он взмахнул толстой книгой. Книга плашмя ударилась об голову Брускова, выскочила из руки и запрыгала по ковру, шумя листьями.

Брусков, сшибленный с ног машистым ударом, ударился головой об дверцу шкафчика. Забренчал фарфор, и несколько северских фигурок^{42} полетело на пол, разбиваясь вдребезги.

– Простите... Не губите... Виноват... Хотел лучше... Простите! – зарыдал Брусков.

И на коленях подполз к князю, хватаясь за его ноги. Наконец князь отошел, опустился на диван и, полулежа, крикнул глухо, сдавленным голосом:

– Рассказывай все!..

Брусков стоял по-прежнему на коленях и начал свое признание... Он доехал до Рейна и изъездил вдоль и поперек Виртембергское, Баденское и Баварское королевства и много других герцогств и княжеств... И наконец нашел графа, а не маркиза де Морельена де ла Тур д'Овера. Граф жил на вилле около Карлсруэ... с женой и двумя детьми. На расспросы Брускова – играет ли он на скрипке и так замечательно, как говорят о нем газеты, он смеясь отозвался, что все это газетное вранье, что он играет на этом инструменте так же, как и всякий другой обыкновенный музыкант из любого городского оркестра... Брускова он просил, объяснив цель своего посещения, удалиться.

Брусков заявил ему о предложении светлейшего князя Потемкина, Оказалось, что французский граф смутно даже припомнил себе фамилию князя. А относительно предложения князя ехать в Россию показать свой талант отвечал изум-

лением и гневом...

– Ну, продолжай... Да встань... Ты не за обедней, – сказал Потемкин.

Брусков поднялся на ноги и продолжал свой рассказ несколько смелее...

Он долго и много уговаривал графа ехать в Россию, обещая горы золотые. Граф наконец позвал двух дюжих лакеев и кротко сказал им, мотнув головой на офицера: *Flanquez-moi sa la porte...*³⁰ Его вежливо вывели из дома и проводили до подъезда.

– Что ж было делать, ваша светлость. Рассудите, будьте милостивы и справедливы. Вы приказали его доставить или на глаза вам не казаться. А прогоните вы меня – пошла прахом вся моя жизнь, потому что моей возлюбленной как ушей не видать... Что мне было делать?..

– Ты и разыскал мне немца?

– Нет. Разыскивать, чтобы обмануть, я не стал. Я как отчаянный поехал назад в Россию и порешил броситься вам в ноги и все пояснить по сушей правде.

– И лучше бы всего сделал.

– Да, но раздумье меня одолело! Ведь сватовство вами было обещано за привоз маркиза. Вы изволили обещать быть у меня посаженным за привоз музыканта. А тут я с пустыми руками. Вы бы меня простили и оставили, может, при себе, но сватать бы не стали меня... Не за что было бы...

³⁰ Выставьте за дверь... (фр.).

– Верно.

– Вот и уехал я, и пустился в обратный путь в самом горестном состоянии. Миновал я кое-как Польское королевство, где претерпел всякие утеснения в качестве вашего гонца. Два раза меня заарестовывали и обыскивали в надежде найти на мне какие-либо любопытные депеши вашей светлости... Доехал я затем спокойно до города Вильны... Тут меня лукавый и попутал... Вот я и виноват теперь еще хуже и горше.

– Так маркиз-то твой – поляк? – спросил князь.

– Наполовину. Даже меньше того. Да он все... Он и поляк, и немец, и венгерец...

– Ну... Угостил ты меня! Отблагодарил! Угостил. Спасибо... Продолжай...

И голос князя зазвучал снова грозно.

Офицер продолжал.

Бродя по улицам Вильны, он случайно набрел на домик, из которого раздавались восхитительные звуки. Кто-то играл на скрипке.

Долго простоял Брусков около этого домика, точно пригвожденный к земле. Это дьявольское наваждение было. Враг человеческий захотел его погубить и толкал в дом музыканта, науськивал офицера звать и везти его в Россию вместо француза. Так он и сделал. Познакомившись с музыкантом, который оказался бедняком, по фамилии Шмитгоф, Брусков, без труда, в один день, уговорил его ехать и назвать-

ся маркизом Морельеном.

– Я полагал, ваша светлость, – закончил Брусков, – что вы, повидая музыканта, заставите его, любопытства ради, сыграть и, наградив, отпустите восвояси... И полагал я – всем оттого только хорошее будет. Вам послушать хорошего музыканта, мне быть женату, а бедняку Шмитгофу разжиться. Не думал я, что так выйдет, что и до матушки царицы дойдет и коснется мой предерзостный обман...

Брусков замолчал. Молчанье длилось долго.

– Простите... – лепетал Брусков. – Жизнью своей готов искупить прощение...

– Жизнью? Все вы одно заладили... Что мне из твоей жизни? Что я из твоей жизни сделаю? – Князь перешел к письменному столу и собрался писать.

Он взял лист бумаги, написал несколько слов и, подписавшись с росчерком, бросил бумагу через стол на пол...

– Бери! Собирайся в дорогу.

Брусков поднял лист, глянул, и сердце екнуло в нем.

– Прочти!

Офицер прочел бумагу...

Это было предписание коменданту Шлиссельбургской крепости арестовать подателя сего и немедленно заключить в свободную камеру, отдельно от прочих, впредь до нового распоряжения.

Брусков затрясся всем телом и начал всхлипывать.

– Помилосердуйте!.. – прохрипел он, захлебываясь от ры-

даний. – Помилосерд...

– Слушай!.. Ты с жидом вырядил меня в дураки. Если удастся мне ныне снять с себя сие одеяние, мало мне приличествующее, то я тебя выпущу, но на глаза к себе не пущу. Если не попафится мне, не выгорит, то сиди в Шлюссе, кайся и чулки, что ль, вяжи. Но это еще не все. Ты должен отпрапляться тотчас, не выдавшись на с кем и никому не объясняя, за что ты наказуем. Если твой христопродавец узнает, что я его раскусил, – то тебе худо будет. Никому ни единого слова... Понял?

Брусков прохрипел что-то чуть слышно.

– Ну, ступай и моли Бога в своей келье ежедневно и еженощно за свой обман.

XIII

А в то же утро музыкант-виртуоз и не чуял, какая беда стряхивалась на его приятеля и какая гроза надвигалась и на него, самозванца, по ребяческой беззаботности и смелости. Музыкант не чувствовал себя виноватым ни пред кем, и совесть его была не только совершенно спокойна, но он даже восхищался своей предприимчивостью.

Молодой и красивый, талантливый и даровитый, но полуграмотный и невоспитанный артист-музыкант был, собственно, дитя малое, доброе и неразумное, но с искрой Божьей в душе.

Когда он держал скрипку и смычок в руках и, опустив глаза в землю, как бы умирал для всего окружающего мира и возрождался вновь в мире звуков, в мире иных, высших помыслов и чувств, а не обыденных людских похотей и вожделений – он перерождался... Он чуял, что в нем есть что-то, чего нет у них у всех... Когда же его скрипка и смычок лежали в своем футляре под ключом – и дивные звуки не хотели ни улечься в футляре около скрипки, ни уместиться на сердце или в голове виртуоза и прельщать оттуда людей. Они таинственной невидимкой скрывались и витали в мире Божиим, в ожидании, что их вновь вызовут и исторгнут из струн, натянутых на какой-то деревянной коробке, – за это время творец дивных ощущений был простой бедняк, кото-

рый плотно ел, напивался, как губка, и спал сном праведников.

Самородок и самоучка – Юзеф Шмитгоф сказывался то немцем, то поляком, но в действительности был еврей. Отец его, портной и часовщик вместе, неизвестно когда перебрался в Вильно из своего родного города Франнфурта-на-Майне и тотчас перешел в католицизм и стал верноподданным королей польских вместе с женой и двумя детьми.

Авраам Шмитгоф был если не виртуоз на каком-либо инструменте, то был истинный виртуоз в создании своего благополучия, общественного положения, состояния...

Недолго он кроил и чинил кафтаны и камзолы или разбирали и чинили часы и орложи^{43} пановой и паней виленских... Через десять лет он был любимцем могущественного магната князя Радзивилла^{44} и, справив ему много тайных и важных поручений, получил в награду патент на капитана и стал, стало быть, шляхтич или дворянин. Именитый и щедрый крез своего времени «пане коханку» произвел в дворяне, пользуясь своим правом князя Священной Римской империи, такое многое множество, что капитан Шмитгоф был явление заурядное. Главный надзиратель над охотой и псарней князя был из прирожденных крымских татар, привезенный Радзивиллу еще татарчонком, стал затем шляхтичем и, наконец, за три тысячи гульденов – и бароном, по патенту владетельного князя Гольштейн-Штирумского.

При смуте и безурядице во всем королевстве, благодаря

тому, что магнаты не хотели признать королем посаженного им насильно на престол дворянина Станислава Понятовского, ^{45} – всякий пронырливый и ловкий авантюрист и пройдомец мог быстро выйти в люди, разбогатеть и иметь даже известное значение.

Авраам Шмитгоф, капитан и шляхтич, по природе юркий, умный, хитрый и дерзкий, горячо служил делу Радзивилла и его единомышленников... Но в политике он понимал мало и не понял того, что совершалось в королевстве, и того, что должно внезапно совершиться.

Наступил первый раздел. ^{46}

Вильна стала не Польшей, а Россией, и Шмитгоф очутился вдруг русским подданным...

Еще горячее стал он слушаться и служить верой и правдой Радзивиллу и его соучастникам в огромном предприятии освобождения Литвы от москалей.

Но через два года Радзивилл почти бежал за границу в Италию, доходы с его громадных поместьев были секвестрованы русским правительством, да и самые поместья рисковали перейти к Понятовскому в награду.

Шмитгоф остался в Литве и служил делу Радзивилла честно, неутомимо и горячо, как бы не еврей из Франкфурта, а природный шляхтич, поляк.

И в один ненастный осенний вечер Шмитгоф был схвачен, закован в кандалы русскими солдатами и отправлен в путь... Путь продолжался 14 месяцев. Он очутился среди

камчадалов!.. Еще бы два месяца пропутешествовать ему – и он очутился бы в самой свободной стране мира – в новых Соединенных Штатах Америки! Но солдаты, везшие его в ссылку, дальше крайнего берега Камчатки не поехали, вероятно предполагая, что тут и конец миру, а вернее потому, что начальство не приказало.

Что случилось с Авраамом – жена его и сын Юзеф не знали. Отец однажды вечером приказал им приготовить себе теплого питья из яблоков от простуды и вышел из дому, чтобы вернуться через полчаса... Тут-то он и поехал в кандалах к камчадалам... С этого дня о нем не было прямых известий. Его считали и утонувшим, и бежавшим, и убитым, до тех пор, пока такие же солдаты не выгнали женщину с сыном из ее дома, отобрав все в казну русского начальства. Тут узнали они, что муж и отец – шпион и изменник отечеству.

И двенадцатилетний Юзеф с больной, пораженной горем матерью очутился на улице, без куска хлеба.

Надо было подумать, как заработать себе пропитание. Мать поступила в богатый дом ключницей-экономкой, а сына отдала на хлеба к музыканту, так как он любил до страсти музыку. Юзеф стал наполовину учеником, наполовину прислугой. Он убирал горницу музыканта за его отсутствие, носил ему его контрабас, когда тот отправлялся играть на гуляньях или на вечерах – но вместе с тем он учился и сам играть. Бросив вскоре контрабас и взявшись за скрипку, молодой Шмитгоф за один год пылкой, неустанной работы сделался

замечательным скрипачом и четырнадцать лет был уже приглашен на жалованье в городской оркестр. Жалованье было ничтожное, но мать могла теперь покинуть свое место в чужом доме, где с ней обращались дурно, и поселиться вместе с сыном.

Недолго прожила больная женщина. Скоро Шмитгоф остался один-одинехонек на свете. Заработок был скудный, а он любил иногда кутнуть со сверстниками, любил вино, любил немного и картежную игру... был поклонник прекрасного пола, у которого имел успех.

Его месячного жалованья хватало ему иногда как раз на одну неделю, остальные три он голодал, сидел в сырой и холодной квартире – зимой, а летом жил из милости в беседке парка одного магната. Виленские обыватели любили звать его и слушать на вечеринках, но денег почти не платили, а угощали ужином и вином.

Результатом беспорядочной порывистой жизни артиста явились неоплатные долги. В квартире его не было ничего, кроме одной пары платья, кое-какой мебели и двух смен белья.

Шмитгоф чувствовал, что если б он мог выбраться из Вильны куда-либо за границу – в Варшаву, в Дрезден или Кенигсберг – то, наверное, обстоятельства его поправились бы сразу. Не одни деньги, но и слава явилась бы к нему. Но выехать было не с чем. Он мечтал и собирался... Так шли из месяца в месяц – года; а из них незаметно накопился и

десяток лет... Юноша давно уже стал мужчиной... А счастье все не улыбалось...

В этом положении застала его фортуна, когда постучалась к нему в квартиру в лице русского офицера Брускова.

Шмитгоф едва с ума не сошел от радости при неожиданном объяснении и предложении Брускова: съездить на неделю в Петербург и заработать деньги, необходимые для того, чтобы предпринять потом музыкальное путешествие по Польше и Германии.

Но надо назваться маркизом французским.

Что за важность. Москали ведь варвары! Тысячу раз слышал он от отца и матери, что русская империя та же татария, где самый первый и богатый вельможа ниже польского хлопа и крестьянина.

Если б Шмитгоф знал только одну свою скрипку – он не поехал бы. Но он еще при жизни отца, когда был у них не только достаток, но и излишек, – много вертелся в лучшем виленском и окрестном помещичьем обществе и прилежно учился грамоте и наукам у иезуита местного монастыря. Способности у него были блестящие. Юзеф обучился от патера немного по-латыни и довольно много по-французски. Немецкий язык он знал с детства, ибо это был язык отца с матерью. А польский язык дался сам собой. К тому же благодаря близости русской границы, а затем присоединению Вильны – русский язык начал проникать к ним. Всякий поляк имел про запас с сотню слов русских.

– Отчего не ехать попытать счастья! – решил Шмитгоф. А присвоить себе имя маркиза Морельена, выдать себя за француза и не ударить лицом в грязь среди петербургского общества при знании языков и при известной смелости в обращении – его не пугало.

– Ведь они, «москаля», – полудикие, – повторял он себе. – Тот же князь Таврический, к которому он поедет, знает чуть-чуть по-французски и с трудом говорит по-немецки.

И маркиз Шмитгоф-Морельен приехал.

XIV

Зубов не упустил случая посмеяться над врагом. На другой же день во дворце на приеме государыни он всем не бывшим на концерте рассказал, как князь Таврический угостил царицу. «Скрипач удивительный – слова нет, но это жид простой, а не французский маркиз», – объяснял Зубов всякому.

Государыня сама слышала его немецкую речь, вспомнила, как настоящие жида в Германии говорят по-немецки...

Узнав, что Зубов прямо рассказывает про смешотворный случай с князем, все гости его, бывшие на концерте, принялись тоже рассказывать, и только родня молчала, не желая срамить князя и не имея возможности опровергать диковинный с ним казус.

Через два-три дня вся столица знала про жида-маркиза Морельена и хохотала до упаду, не столько по своей смешливости или особой забавности случая, сколько из зависти к могущественному и надменному врагу.

Зубов и его ухаживатели торжествовали. В первый раз герой Тавриды давал случай посмеяться над собой. Многих он своей хитростью делал шутами, а теперь сам попал в довольно забавный просак.

Не будь он Потемкин – ничего бы не было особенного, что ошибкой вместо аристократа-маркиза – жида представил... Но ему и меньше этого не простили бы униженные им.

Князь между тем съездил к императрице, рассказал все подробно, что знал от Брускова, и просил прощения, что необдуманно поступил. Он получил милостивый ответ.

Князь смеялся, шутил и острил на свой счет, но был задет за живое.

Он вернулся к себе и не велел никого принимать...

Он сердился и бесился как школьник, который, напроказив, сознается внутренне в своей вине, но не может примириться с заслуженным наказанием.

Когда доложили князю об его любимой племяннице Браницкой – он принял ее и излил перед ней свою горечь. Графиня напрасно успокаивала дядю, убеждая, что не стоит печалиться от такого пустяка.

– Обида... Обида... – твердил князь. – Что ж, кто будет учить меня приличиям и порядкам?... Я теперь до тех пор не буду покою иметь, пока не отомщу, их всех в дураки не выряжу.

– Как же тут отомстить? И какая польза? У вас, слава Богу, довольно врагов! – возражала графиня. – Да и нельзя отомстить.

– Почему это...

– Я понимаю месть в этом случае лишь такого рода, чтобы вы, как сказывается, отплатили тою же монетой... А что ж будет хорошего, если вы просто начнете мстить... Все-таки случай смешной останется.

– Их самих на смех поднять! – раздражительно сказал

князь.

– Ну да... Но это невозможно, говорю я.

– Трудно... Но невозможного ничего нет... Одурачить всякого можно.

– Полноте, дядюшка, – ласково заговорила Браницкая. – У вас и без этого есть о чем думать...

– Все своим чередом... Одно другому не мешает.

– А дело великое будет стоять из-за пустяков! – укоризненно выговорила Браницкая.

– Говорю тебе, что не будет отсрочки никому в моей отместке.

– Давай Бог!.. А все же таки вы, дядюшка... Простите... Вы что малый ребенок бываете.

– Не груби, Сашенька, – шутя произнес князь и нежно поцеловал в лоб любимицу.

– Да ничего нет... – шепнула Браницкая.

– Не переупрямить... Есть. Есть...

Графиня уехала от дяди с надеждой, что он «остынет», как многие выражались про князя, впечатлительного и непостоянного.

Между тем виновник этой досады и волнений был счастливее и веселее, чем когда-либо. Наконец-то фортуна посетила его и сразу возвысила и дала все... Шмитгоф процветал!..

Давно ли он сживал одинок и впроголодь в маленькой холодной квартире в Вильно или играл на вечеринках раз-

ных панов, которые платили ему подачками пирогов и жаркого от своего ужина. А теперь... Он помещается в двух горницах дворца; у него свои лакеи и скороход... Наконец, у него деньги, которых некуда девать. После первого же раза, что он играл у князя в кабинете, домоправитель Спиридонов, или простой дворецкий, но важный человек в позументах, принес ему от князя сто червонцев...

Шмитгоф уже тотчас по приезде разузнал, есть ли в столице московского царства трактиры и герберги, ^{47} и, к своему удовольствию, убедился, что есть такие, каких нет и в Вильно. Вскоре все вечера свои виленский маркиз проводил в герберге «Цур-Штат-Данциг» на Невском, где не замедлил и свести знакомство с разными офицерами. Здесь же бывал с ним до ареста и кутил на его счет его благодетель, Брусков.

Теперь, после игры в присутствии императрицы, Шмитгоф, однако, недоумевал. Уже несколько дней, как друг его исчез бесследно из столицы. И никто не знал, где Брусков. Даже адъютанты князя, даже главный швейцар дворца, хитрый невшателец ^{48} и всезнайка, не знали, куда девался офицер.

XV

Прошло две недели после злополучного концерта. Князь никуда не выезжал, но принимал всякий народ и, глядя в лицо появлявшегося в его кабинете, иногда думал:

«И этот знает небось. И тоже радуется да меня в шутках поздравляет про себя».

Иногда мысль эта приходила ему в пылу серьезного и важного разговора. Однажды, споря с австрийским резидентом о смысле обещаний, данных еще недавно России покойным теперь императором Иосифом II, ^[49] князь вдруг запнулся. Он вспомнил, что его маркиз – тоже Иосифом называется... И он, перебив цитату резидента из конвенции Австрии с Россией, спросил:

– А вы слышали, какой у меня в доме эмигрант-маркиз оказался?..

Резидент слышал, конечно, но давно забыл и теперь сразу не понял... А когда понял, то подумал невольно:

«Пустой человек – считается гениальным. Говорит о деле политического интереса, и вдруг на глупости мысли перескачут...»

Резидент ошибался, глупости укладывались в этой русской голове рядом с великими помыслами, ширь которых изумляла царицу.

Наконец, однажды, в приемный день, один посетитель

рассеял вполне его хандру и вывел почти совсем из угнетенного состояния духа. Это был грек Ламбро-Качиони, ^{50}сно-ва явившийся к князю с хорошими вестями.

Четыре из его крейсеров с волонтерами из критян и фесалийцев совершили ряд подвигов в Архипелаге.

Потемкин оживился, достал огромную карту и стал искать места, которые называл Ламбро-Качиони...

Разговор быстро перешел в жгучий для князя вопрос.

– Что нового? – спросил грек.

И князь понял, что дело идет о согласии царицы на продолжение войны с Турцией.

– Ничего... Я бьюсь... Надеюсь. Врагов у нас много. Куда ни обернись – всюду друзья султана Селима! – усмехнулся князь. – Из трущоб даже приходят жалобы россиян, жаждущих замирения; дворянские собрания присылают депутатов просить правительство заключить с Портой мир. Что им – будет ли сокрушен полумесяц православным крестом или нет? Им за свои имения в новом ломбарде побольше получить... да поменьше платить... А какой-то идол пустил слух, что правительство – от расстроенных войной финансов – велит повысить процент ломбарда.

– Я слышал вчера, ваша светлость, – заявил Ламбро, – что от Платона Александровича отправлен к Репнину на сих днях особый гонец с письмом... Его приближенный человек из родственников...

– Ну, что ж?

– Прежде он не посылал таких. И письмо, сказали мне, пространное. И его все Зубов написал собственноручно, просидев за грамотой четыре вечера.

– Откуда ты это знаешь?

– От его камердинера. Мне эта весть двадцать червонцев обошлась.

Потемкин посмотрел на лицо грека, помолчал и наконец вздохнул и подумал:

«Да... Не то стало...»

Отпустив грека, князь снова долго сидел задумчивый, почти грустный.

Наконец адъютант доложил князю, что просителей очень много.

– Шведский гонец просил доложить! – сказал офицер. – Говорит, что ему очень ждать нельзя. Некогда!

– А-а? – протянул князь иронически. – Хорошо... Так и знать будем.

Офицер прибавил, что в числе прочих просителей находится дворянин Саблуков.

Потемкин вспомнил, что выхлопотал в Сенате для дворянина справедливое решение его дела.

«А ведь это будущий тесть моего поганца Брускова, – подумал он. – Вот уж добром за зло плачу... Что ж? по-христиански...»

И он прибавил адъютанту:

– Благодарить явился? Скажи, что не стоит благодарно-

сти. Пушай с Богом едет к себе в вотчину и спокойно землю пашет да хлеб сеет. А швед пусть позлится еще...

Адъютант вышел и тотчас снова вернулся, докладывая, что г. Саблуков слезно молит князя допустить его к себе... ради важнейшего челобития...

– Опять челобитие? Что ж у него другая тяжба, что ли? Зови!

Дворянин Саблуков вошел в кабинет и стал у дверей.

– Ну, поздравляю... Победили ябедников... Что же тебе еще от меня?

– Ваша светлость – Бог наградит вас за ваше добросердие... Да. Я получил извещение... Достояние мое спасено... Правда торжествует, закон... Но счастья и спокойствия нет в моей семье. Дочь моя старшая в безнадежном состоянии. Помогите... Троньтесь мольбою старика отца...

Саблуков опустился на колени...

– Я-то что же могу...

– За спасение достоянья своего не молил вас коленопреклонением... А теперь вот...

– Дочь больна у вас, говорите вы?

– Да-с... И не выживет! сказывают здешние медики... Помогите...

– Да я... Я в медицине – что же? – заметил Потемкин, смеясь.

– Тут не лекарства нужны... Тут душевная болезнь. И вы одни можете ее поднять на ноги, возвратить ей сразу

жизнь...

– Объяснитесь...

Саблуков объяснил коротко, что дочь его уложила в постель весть об участи, постигшей ее возлюбленного...

– Брускова... Заточение в крепость...

– Да. Помилосердуйте. Спасите... Умрет моя Олюшка – я не переживу.

Наступило молчанье. Саблуков плакал.

– Меня Брусков дерзостно обманул...

– Нет. Вы желали диковинного музыканта услышать, он вам такового и доставил.

– Да зачем с чужим именем! Зачем за дворянина выдал...

– Это в счастье так рассуждают! – воскликнул Саблуков. – Я горд был тоже всю жизнь моим дворянским состоянием, а теперь вот вам Господь, – сейчас в жида пойду, в крепостные запишусь – только бы мне дитя спасти единокровное... У вас не было детей, ваша светлость!

Князь встrepенулcя, будто по больному месту его ударили. Лицо его слегка изменилось. Снова стало тихо в кабинете.

– Да... – проговорил князь. – Думаю, что... Думаю... что я...

Князь замолчал и спустя мгновенье прибавил, вставая и направляясь к столу:

– Ну, поедem лечить твою Олюшку. Своих детей нет – видно, надо чужих баловать...

Саблуков вскочил на ноги и бросился к князю, но не мог сначала ничего выговорить...

– Вы?! Ко мне?! Сейчас?!

– Вестимо к твоей больной. Повезу лекарство. Дай прописать.

Князь сел за письменный стол и написал несколько строк: приказ шлиссельбургскому коменданту освободить содержащегося у него Врускова.

– Ну, ступай. Жди меня в зале. А поеду я сам к тебе потому, что хочу видеть, как подействует мое лекарство. Если плохо, то, стало быть, оно не по хворости и не годится. Тогда выдумывай другое, от другого дохтура.

Саблуков, восторженно-счастливый, вышел в залу.

Князь перешел от стола к софе, лег враспяжку, и, когда, по выходе Саблукова, появился в дверях адъютант, князь вымолвил:

– Шведа давай...

Адъютант вышел, и через минуту в кабинете появился офицер в иноземном мундире. Быстрыми, развязными шагами вошел он и остановился, озираясь на все стороны. Софа была в глубине комнаты и не сразу попала ему на глаза. При виде лежащего князя офицер гордо выпрямился.

Это был военный агент и гонец, только что присланный в Петербург королем шведским с весьма, как ходила молва, важным поручением к русскому двору. Князь уже слышал о приезде шведского гонца и знал, что он принадлежит

к знатному роду, а дядя его по матери стоит даже во главе партии «шляп», ^[51] сломившей автократизм и самовластье шведских королей. Переговоры с этим гонцом Швеции могли быть важнее по своим результатам, нежели сношения с самим королем Густавом III, ^[52] так как за коноводом, т. е. дядей гонца, стояла национальная партия, сильная, сплоченная и только что вышедшая победоносно из борьбы с монархом. Порученье, ему данное, князь подозревал... Дело шло о правах торговых для шведов и норвежцев в Белом море и Архангельске.

– Salut, general! – выговорил князь, не двигаясь с софы.

– Барон Ейгерштром, – рекомендовался военный холодно.

– Садитесь... Что вам угодно... – продолжал князь по-французски.

Офицер сел на кресло пред богатырем, лежащим в растяжку на диване, и в нем так забушевало негодование, что он несколько мгновений молчал.

«Что, ошибло! – думал князь, мысленно смеясь... – Благодарить Россию приехал».

Королевско-шведский гонец начал несколько сухо свою речь о деле, с которым приехал... Князь дал ему только начать, и, как посланец упомянул об интересах Архангельска и Беломорья, в частности, и Российской империи вообще, – князь прервал его.

– Вы об наших выгодах мне ничего не говорите – это наше

дело. А вы об своих выгодах говорите.

Швед начал еще более сухо и холодно говорить о взаимных выгодах и пользе – двух наций. Он уже увлекся было в разъяснении благотворных последствий от нового соглашения между двумя соседними державами, когда князь вдруг выговорил:

– Теперь у государыни столько важных вопросов, подлежащих решению, что нам этим некогда заниматься... Скажите – как здоровье принца Зюдерманландского?

Швед изумленным взором глянул на князя, а князь вдруг начал добродушно смеяться:

– Знаете... После подвигов Чичагова^{53} в ревельском сражении^{54} наши матросы и солдаты захотели узнать имя командира неприятельского флота. Узнав, они его прозвали по-своему. Принц Сидор Ермолаич!.. Мне ужасно жаль, что я не могу вас, не знающего русского языка, заставить оценить это прозвище... Принц Зюдерманландский – принц Сидор Ермолаич.

Барон Ейгерштром поднялся с кресла, выпрямился, поклонился одним движеньем головы и вымолвил:

– Очень рад, что имел случай лично видеть знаменитого князя Потемкина. Многое я слышал не раз о нем от соотечественников и от иностранцев, бывших в России, но собственного мнения иметь не мог. Теперь я рад, что могу иметь и высказывать другим суждение, вынесенное из настоящего свидания. Извините, что обеспокоил вас. Благодарю за веж-

ливый и радушный прием. Обращение ваше меня очаровало, и я уношу впечатление, которое не изгладится из моей памяти. Я видел истинного русского вельможу!.. Завтра я сажусь обратно на корабль и отвезу ваш ответ моему государю.

– Да... И поблагодарите его величество за его неусыпные попечения о русских интересах...

Швед повернулся и, выйдя из кабинета, быстро прошел всю залу... Его лицо, бледное, с пятнами, сверкающий гневом взгляд немало удивили толпу, ожидавшую приема. Князь сел между тем за свой стол, веселый и улыбающийся, и продолжал прием.

Он принял еще около десятка человек и, отказав остальным, пошел одеваться. Через четверть часа, в своей всегда пышной одежде, залитой золотом, алмазами и орденами, он вышел к Саблукову.

– Ну вот! Давай баловаться. Как у господина Мольера в лицедействе: «Le medecin malgre lui».

И, посадив смущенного от счастья и радости старика в свою коляску, князь двинулся в герод, где не был уже несколько дней.

Воздух, тепло и яркое солнце подействовали на добровольного затворника. Он оживился и начал шутить с Саблуковым, а потом и с Антоном-кучером.

XVI

Через полчаса быстрой езды коляска и конвой князя въехали во двор небольшого барского дома, желтенького и полинялого, стоявшего в глубине зеленеющего двора. Переполох в доме сказался сразу. Первая же душа человечья, застигнутая на крыльце – баба, парившая горшки, – бросила обтираемый горшок обземь при «наваждении» на дворе и, заорав благим матом: «Наше место свято...» – шаркнула в сени как ошпаренная.

Но там дети и домочадцы уже все сами видели и тоже гогосили и швырялись.

Госпожа Саблукова, как стояла среди горницы, так и присела на пол без ног.

– Полноте, дурни! Полноте, барыня! Чего оробели. Бог с вами, – выговорила маленькая и красивая девушка, но странно одетая, будто не в свое, а в чужое платье, которое болталось на ней как мешок. – Барин наш с вельможей приехал... Это на счастье, а не на горе. Господи помилуй! Да это он! Сам! Светлейший! Барыня, радуйтесь! Креститесь! Молитесь!

И живое, бойкое существо, будто наряженное, а не одетое, схватило длинный подол платья и, перебросив его себе через плечо, начало прыгать и припевать:

– На счастье! На счастье! На Олюшкино счастье.

На ногах этого танцующего существа были татарские шальвары и туфли.

В дом вбежал первым сам хозяин и крикнул:

– Жена, Марья Егоровна... Его светлость...

Саблукова дрожала всем телом... но, приглядысь к лицу мужа, которого двадцать лет знала и любила, – она быстро от перепуга и отчаяния перешла в восторженное состояние...

– Зачем... Милость... Олюшке? – прошептала она со слезами на глазах.

Саблуков махнул рукой.

– Ну, живо... Приберитесь... Вы! Вон отсюда! Господь услышал мою молитву... Увидишь, жена. Живо! Вон! Все!! Саркиз! Ты чего глазеешь... Вон! – крикнул Саблуков на бойкое существо.

Все бросились из приемных комнат в другой угол дома... Хозяйка, забыв свои сорок пять лет, пустилась рысью в спальню переодеваться в новое шелковое платье, Саблуков, оглядев горницу, чтобы убедиться, все ли в порядке, побежал принимать князя, стоявшего между тем перед своим цугом и беседовавшего с фореитором.

– Пора тебе, лешему, в кучера... – шутил князь ласково. – Ишь, рыло обрастать начало... Давно женат уж небось, собачий сын?

– Как же-с.

– И то... Помню... На Пелагейке, что из Смоленской?

– Никак нет-с, – вмешался Антон. – Она из нашей же, из

степной вотчины.

– Вашей родительнице причитается крестницей, – прибавил фореитор.

– Так! Помню. Пелагейка косоглазая, – заговорил князь. – Дети есть...

– Двое было. Да вот учерась третьего Бог послал.

– Ну, меня зови в крестные...

Фореитор встряхнулся в седле от радости и, быстро взяв повод в одну руку, хотел снять шапку. Сытый и бойкий конь рванулся от взмаха руки седока... И весь цуг заколыхался...

– Нишкни! Смирно! – крикнул князь строго. – Смотри, чего натворил. Фореитор в седле что солдат на часах – не токмо шапку ломать, а почесаться не смей... Так ли я сказываю, Антон?

– Истинно, Григорий Лександрыч! – отозвался Антон. – Пуще солдата... Солдат на часах, бывает, пустое место караулит, а тут у фолетора спокой и самая жисть светлейшего князя Потемкина. Да это он с радости сплоховал, а то он у нас первый фолетор в Питере. С ним кучер хоть спать ложись на козлах.

Между тем Саблуков успел уже вернуться из дому и стоял за князем в ожидании. Потемкин приказал своей свите оставаться на дворе и вошел в подъезд.

Хозяйка встретила князя разодетая в гродетуровое платье, которое она надевала только к заутрени в Светлое Христово воскресенье да на рождение мужа. За Саблуковой сто-

яла вновь собравшаяся толпа человек в двадцать пять, чад и домочадцев, и все робко и трепетно взирали на вельможу, готовые от единого слова его и обрадоваться до умарешения, и испугаться насмерть. Князь ласково поздоровался с хозяйской, оглянул всех и спросил: что дочка?

– Плохо, родной мой, сказывал сейчас знахарь, что она... кормилец ты мой... – начала было Саблукова, но муж вытаращил на нее глаза, задергал головой и показывал всем своим существом ужас и негодование. Жена поняла, что дело что-то неладно, и смолкла, конфузясь.

– Могу я ее видеть, сударыня?

– Как изволишь, кормилец...

Саблуков, стоя за князем, опять задергал головой и замазал руками.

– Простите, ваша светлость! – вмешался он. – Жена к светскости не приобыкла... Сказывает не в урон вашей чести, а по деревенской привычке...

– И, полно, голубчик! Родной да кормилец – не бранные слова. Идем-ка к дочке.

Пройдя гостиную и коридор в сопровождении хозяев и всей гурьбы домочадцев, князь очутился наконец в маленькой горнице, где у стены на постели лежала молоденькая девушка... Ее предупредили уже, и она, видимо слабая, но потрясенная появлением нежданного гостя, смотрела лихорадочно горящими глазами.

– Ну, касатушка, – подступил князь к кровати. – Ты чем

хвораеть... Отвечай по совести и по всей сущей правде. Зазнобилась аль обкушалась?

Девушка молчала и робко озиралась на мать и отца, стоявших позади князя, и на всю толпу, которая влезла в горницу и глазела, притаив дыхание.

Князь сел на кресло около кровати.

– Отвечай мне. Я доктор. И могу тебя в час времени на ноги поставить... Возлюбленного у тебя в крепость посадили. Так?

Бледное лицо Оли вспыхнуло румянцем, глаза блеснули, и она еще испуганнее озиралась.

– Хочешь ты – он будет через двое суток здесь?.. Выпущен... И тогда, если родители согласны, можешь под венец одеваться...

Девушка затрепетала всем телом и так поглядела князю в лицо, что сомнения не было. Она может выздороветь в несколько мгновений.

– Ну, вот, бери, красавица... – подал князь больной бумагу, достав из-за обшлага мундира. – Это приказ выпустить из Шлюшина твоего жениха... Смотри же, к его приезду будь на ногах. А будешь лежать да недужиться – я его опять заарестую.

– Нет... нет! – выговорила Оля и быстро села на постели. Глаза ее сияли.

– Я сейчас! Сейчас!.. Я здорова!

Князь рассмеялся.

Саблуковы со слезами счастья на глазах бросились целовать его руки. Потемкин отбился от них и, оглянувшись на толпу, глазевшую с порога и из-за растворенных настежь дверей, переглядел все лица. Тут были и крошечные дети, и уже большие девочки и мальчики, и взрослые, и старые няньки. Все они как-то дико уставились на князя и его великолепную одежду.

Князь высунул им язык. Толпа рассмеялась и стала глядеть смелее.

– Брысь!.. – вскрикнул он.

Все расхохотались, попятились, но остались в дверях и за дверями. Князь увидел на маленьком столике около постели большую кружку с водой. В один миг он приподнялся, взял ее и выплеснул веером в толпу домочадцев... Визг, хочот поднялся страшный, но князь встал и запер дверь.

Саблукова, смущаясь, предложила князю «отведать хлеба-соли» и пройти в гостиную, где уже хлопотали давно две женщины. Князь был сыт, но отказаться значило бы обидеть.

– Давайте, хозяйюшка... Только уж лучше сюда. Я и есть буду, и на вашу Олюшку поглядывать. Оно и вкусней будет.

Люди внесли в двери уже накрытый стол, заставленный всем тем, что только у хозяев могло найтись в погребе и кладовых – от холодного поросенка в хрене и оладий на патоке до разнокалиберной смоквы и обсахаренной в пучках рябины.

– Не побрезгуйте, ваша светлость... – прошептала Саблу-

кова. – Чем Бог послал...

Князь чувствовал себя настолько сытым, что не знал, как ему отбыть эту повинность гостя у российских хозяев. На его счастье, в числе прочих закусок оказалось его любимое кушанье – соленые рыжики с приправой из выжимок черной смородины.

– А!.. Вот этого я отведаю с отменным удовольствием, – сказал князь, и, проглотив несколько грибов, он вымолвил, оживляясь:

– Диво. Ей-Богу, диво! Вот хоть зарежь ты ученого повара, он такое блюдо не выдумает... Что ж вы? Садитесь.

Хозяева, почтительно радуясь, стояли около стола.

– Садитесь. Кушайте... – настаивал князь. – А то встану и уеду... Вот вам Христос – уеду!

Саблуковы, после долгого отнекивания, сели к столу, но есть, конечно, ничего не стали. Князь быстро и охотно очищал тарелочку с рыжиками и стал спрашивать Саблуковых, каким образом могла начаться та ябеда и тяжба, которая привела всю семью в столицу и чуть было не лишила всего имущества.

В то же время на другом конце дома раздавались все сильнее веселые голоса, крики и залпы детского смеха... Саблуков тревожился, морщился, внутренне бесился на эту вольность своих домочадцев, но оставить князя и унять озорников он не мог. Наконец он дал понять мимикой жене – глазами, бровями, чтобы она сходила прекратить «срамоту».

Саблукова встала.

– Куда?.. Не пущу... – догадался князь. – Сидите, хозяй-юшка... Я смерть люблю это!.. Пускай голоса.

– Простите, ваша светлость.

– Нету мне пущего удовольствия, как слушать детскую возню и хохотню. Это ваши дети?

– И мои тут... И родственника женина... Сиротки...

– Много ль всех у вас детей?

– Одиннадцать со старшей, замужней, – самодовольно ответила Саблукова, – да внучат еще трое...

– И всегда так заливаются... То-то весело этак жить, – вздохнул вслух князь и слегка насупился, будто от тайного помысла, который скользнул нечаянно по душе.

Наступило мгновенное молчание.

– Саркиз все... – выговорил вдруг Саблуков.

Князь встrepенулся и, придя в себя, почти сумрачно глядел на хозяина.

– Маркиз... Что? Маркиз?..

– Саркиз, ваша светлость... Простите. Я пойду сейчас уйму...

Хозяин встал, смущаясь от взгляда гостя, но князь тоже встал и уже улыбался.

– Маркиз... Саркиз... Похоже... Это что ж такое: Саркиз?

– Имя. Прозвище, ваша светлость. Это у меня калмычок так прозывается. Отчаянная голова. Это все он мастерит в доме с детьми. Первый затейник на всякую штуку. Такая

голова, что даже, верите, подчас удивительно мне. Все у него таланы. И пляшет, и поет, и рисует, и на гитаре бренчит. А ведь вот татарва, и еще некрещеный...

– Отчего? – рассеянно спросил князь.

– Не хочет... – пожал плечами Саблуков.

– Как не хочет? – оживился князь, – Калмык и не хочет креститься в нашу христианскую веру? Это что ж...

– Что делать... Я уже ломал, ломал и бросил...

– Негодно... Вы ответите пред Богом, что его душу не спасли. Будь он теперь у себя – иное дело. А коли уж у вас – то след крестить.

– Не могу уломать!

– Пустое. Где он?.. Пойдем... Я с ним потолкую и усоветую.

И князь двинулся вперед на голоса, которые еще пуще заливались за дверями, где была зала.

XVII

Среди простора горницы возилась гурьба детей мал мала меньше, от шести и до пятнадцатилетнего возраста, а с ними вместе несколько девчонок-горничных, два казачка, кормилица с грудным ребенком и старая седая няня.

Центром всей возни была та же красивая фигурка, по-видимому, наряженная ради потехи в голубое шелковое платье барыни. Она маршировала теперь по зале, размахивая длинным шлейфом, с огромным чепцом на голове, с веером в руках и, очевидно, что-то представляла на потеху детей.

Появление князя на пороге залы подействовало как удар грома. Все сразу притихло, оторопело и осталось недвижно в перепуге. Оглянув гурьбу детей, князь тотчас заметил красивую девушку в голубом платье и етал искать глазами калмыка, о котором шла речь.

– Какая хорошенькая! Шутихой, что ли, у вас? – спросил он. – Ну, где же строптивый-то?

– Саркизка, иди сюда! – строго приказал Саблуков.

Фигурка в голубом платье виновато выдвинулась из гурьбы детей, но светлые глаза смотрели бойко и умно.

– Какая прелесть девчонка!.. – выговорил князь, забыв о калмыке. – Не русская, однако. Видать сразу – не русская. Татарва, а иному молодцу и голову вскружить может.

– Простите, ваша светлость, – заговорил Саблуков. – Это

не...

– Невеста ведь, – перебил князь. – Небось уж лет шестнадцать, а то и семнадцать. Ну, отвечай, красотка, сколько тебе лет?

Князь взял ее рукой за подбородок и приподнял вверх хорошенькое личико. Все в ней было мило и оригинально. И этот вздернутый носик, и белые, как чистейший жемчуг, зубы, и смугло-розовый, с оранжевым оттенком, цвет лица, и выющиеся мелкими кольцами золотистые волосы, а в особенности, страннее всего светлые, добрые, но лукавые глаза, какого-то оригинального синего цвета.

– У русских вот девушек таких глаз не бывает, – сказал князь. – Хочешь замуж, касатка?.. Небось только это и на уме? – ласково прибавил князь и продолжал гладить и водить рукой по смугло-румяной щеке маленькой красавицы.

– Простите, ваша светлость, – вмешался вновь Саблуков, смущаясь. – Это он и есть... А не девица... Он это...

– Кто он? – спросил князь, озираясь.

– Он самый. Саркиз мой... Ну, ты! – прикрикнул Саблуков. – Полно при князе скоморошествовать. Скидай скорее упряжку-то шутовую...

Князь стоял слегка раскрыв рот и, ничего еще не понимая, взглядывал то на хозяина, то на хорошенькую девочку.

Но вот она быстро расстегнула лиф чужого платья, одним ловким движением стряхнула с себя все на пол и сбросила уродливый чепец. Из круга тяжелых складок женского пла-

тъя, как бы из заколдованного круга волшебника, вдруг выскочил на глазах у князя маленький калмык, в своем обычном наряде – куртке, шальварах и ермолке.

– Тьфу... Прости Господи! – выговорил князь. – Хоть глаза протирай. Обморочил...

– Да-с. Это точно... – заговорила хозяйка. – Завсегда все этак... Уж простите. Мы не знали...

– Так ты калмык... Калмычонок? – невольно выговорил князь, как бы все еще не веря своим глазам и желая убедиться вполне, что красавица девушка исчезла как виденье, а ее место заступил калмычок.

– Я-с... Виноват... Детей веселил... – проговорил калмычок развязно, но простодушно.

– Удивительно. Я таких никогда не видывал. Удивительно, – повторял князь. – Все калмычата – уроды. А этот – прелесть какой... А глаза-то... глаза...

– Диковинный, ваша светлость... Я говорю, жаль, что он девушкой не уродился. Свое бы, поди, счастье нашел.

А князь молчал и все смотрел на калмычонка. Ему показалось, однако, необъяснимым – каким образом он мог так глубоко ошибиться и начать ласкать как девочку простого калмыка. И вдруг ему пришло на ум простое подозрение: «Что, если старый Саблуков держит в доме татарку, одетую калмычкой? Такие примеры бывали нередко».

– Так тебе имя Саркиз? Ты калмык Саркиз? – спросил наконец князь, усмехаясь своему подозрению.

– Я Саркиз, ваша светлость.

– Ты, щенок, креститься не хочешь?

– Нет, не хочу! – смело ответил тот.

– Вот как?.. Почему же это? А?

– У меня своя вера есть! – бойко отрезал Саркиз. И его оригинальные глаза смотрели на князя прямым, открытым взглядом, отчасти наивно-смелым.

Князь видел, что это не напускная дерзость избалованного нахлебника, а совершенно естественная самоуверенность, глубокое сознание собственной силы.

– Да твоя вера туркина, а не Христова, – сказал он, улыбаясь. – Это не вера...

– Магометов закон. Не хуже других... – отрезал Саркиз.

– Ах ты...

И князь чуть было не ругнулся.

– Ах ты... приткий... Скажи на милость, – поправился он.

– Магомет был пророк великий, посланец Божий, – заговорил Саркиз серьезным голосом. – Но он не говорил, что Он Сын Божий, и миряне его за такого не стали считать...

И, помолчав мгновение, красивый калмычонок прибавил:

– Учение Магометово почти то же, что и Христово. В нашем Коране, почитай, половина учит тому же, что и Христово учение. Коли изволите, я вам укажу и поясню.

Князь не зная, что ответить. Удивителен был чрез меру этот калмычонок, который сейчас тут в барынином платье паясничал на потеху детей, а теперь звучным, серьезным, хо-

тя особенно мягким, точно женским голосом толкует о вероучении Корана.

– Вот он у вас какой? – нашелся только выговорить князь, обращаясь к хозяевам.

– Диковинный, ваша светлость... – отозвался Саблуков. – Умница.

– Сколько раз из беды выручал... – вставила робко хозяйка свое словечко.

– Как тоись выручал?

– Советом, – объяснил Саблуков. – Как у нас что мудреное – мы к нему... И никогда еще дурного или малоумного не заставил нас учинить. Завсегда развяжет всякое дело на удивление. Талан. Мы за то его и любим как родного и не трогаем. Не хочет креститься, ну и Бог с ним. А поступлениями он все одно что христианин, только молится да постится на свой лад.

Светлейший покачал задумчиво головой, но не словам Саблукова, а на свои мысли...

«Чуден!.. Чудное бывает на свете! – думалось ему, глядя на стоящее пред ним оригинальное существо. – Кого иногда Господь-то взыщет. Если он и впрямь калмычонок, купленный, поди, на базаре каком-нибудь в Казани или Астрахани! И умен, и красив, и речист, и смел... А все это пропадает и пропадет... Для калмыка приживальщика и шута – такое лицо не нужно. Ум и таланы тоже почти не нужны. Природа одарила и подшутила – сделала человеком, как ему быть

следует, а в люди выйти не дает... Что он? Татарчонок!»

– Ну, Саркиз, ты, голубчик мой... явление чудесное. Видимое объявление чудес природы на земле, – медленно выговаривал светлейший, как бы подыскивая слова для выражения своей мысли. – Тебе надо называться не Саркиз... а Каприз. Каприз Фортуны.

Саркиз глянул вельможе прямо в глаза, и князю почудилась вдруг в красивых глазах его и на хорошеньком личике дымкой скользнувшая печаль.

– Ты знаешь ли, что я сказываю? Что такое Фортуна?

– Знаю-с.

– Знаешь? А ну-ка, скажи... Скажи...

– Что же сказать?.. Фортуна наименование таких непредвидимых удач ли, напастей ли – кои с человеком сбываются... Фортуна, сказывают в шутку, – баба молодая да шалая. Порох девка. Творит не ведает что... Бегает по миру без пути, творит без разума. Что учинила учерась – не помнит; что учинит наутро – не знает. Да что... Так надо пояснить: она, стало быть, на удивление всему миру мудреные и неразгаданные литеры пишет... вилами по воде...

– Что? Что? Что?.. – медленно проговорил князь, пораженный ответом.

Саблуковы начали смеяться добродушно, очевидно принимая слова любимца за болтовню. Гурьба детей тоже весело усмехалась тому, что их Саркизка князю докладывает так бойко и речисто.

– Как вилами по воде?.. – повторил князь.

– От многих удивительных на свете делов Фортуны, – выговорил Саркиз серьезным и отчасти грустным голосом, – не остается ничего... Пшик один.

– Пшик?

– Знаете, кузнец хохлу за червонец пшик продавал... Сперва червонец получил, а там раскалил добела железо да в воду и сунул. Вот, мол, держи пшик! – А где же? – А был... Ты чего зевал – не ловил. И видел и слышал хохол этот пшик... А в руки взять не мог.

Саркиз замолчал и смотрел на князя по-прежнему просто, прямо, но все-таки будто задумчиво-уныло. А светлейший князь Таврический совсем понурился, задумался, совсем затих, сидя на стуле, и будто забыл, что сидит пред калмыком и гурьбой детей в доме Саблукова.

По больному ли месту его души, по слабой струне зацепил этот диковинный татарчонок?..

– Продайте мне его, – выговорил наконец князь, придя в себя и оборачиваясь к Саблуковым.

Хозяин как-то встрепенулся, хотел что-то сказать и кашлянул, хозяйка двинулась и охнула... Вся гурьба детей сразу перестала усмехаться, все лица насупились печально и испуганно стали глядеть на вельможу.

Наступило полное затишье и молчание.

– Что ж? А?

– Как прикажете... – пролепетал наконец Саблуков, со-

вершенно смутясь.

– Приказывать в таком деле нельзя... – сказал Потемкин. – Жаль вам его! Вижу. А вы пожертвуйте. Я вам все ваше достояние вернул. Отблагодарите меня вот Саркизкой...

– Вестимо. Извольте!.. Честь великая, – вдруг забормотал Саблуков. – И Саркизке счастье. Что ж он у нас в деревне. Запропадет. А у вас, поди, и в люди выйдет.

– Ну, спасибо. Не надо. Я пошутил. Вижу, как он вам до-рог, и отымать не стану.

Саблуков развел руками, не зная, что отвечать.

XVIII

С трепетом и смущением на сердце переступило порог Та-врического дворца юное существо, одаренное природой буд-то в шутку, – умный и красивый калмычок Саблукова.

Вечером того же дня, что князь побывал у дворянина, он послал за своим наперсником Бауром.

Лукавый, ловкий, но скромный и мастер на все руки, он всегда служил князю в особо важных делах.

– Важнейшее пустяковинное дельце! – говорил князь Ба-уру. – Смотри не опростоволоситься! Дело выеденного яйца не стоит, а мне важно!

Последнее «сакраментальное» выражение Потемкина бы-ло теперь мерилom всего.

Полковник Баур знал лучше всех, как рядом с этим еже-часным помышлением князя, этим его насущным вопросом явились на очередь большие и мелкие затеи и прихоти, в ко-торые баловень судьбы влагал всю свою душу так же пылко и капризно, как и в важнейшее дело.

И Баур достал и сманил калмычка саблуковского.

Вступив во дворец маленьким ходом, а не чрез парадный подъезд и швейцарскую, Саркиз следом за Бауром прошел чрез вереницу маленьких горниц, минуя толпы обитателей, прямо к князю на половину. Здесь они оба прождали около двух часов, пока князь объяснялся в кабинете с посетителя-

ми.

Наконец князь вспомнил о Бауре и Саркизе, ожидающих его, и приказал позвать. Калмычок появился, пытливо озираясь.

– Ну, здравствуй, умница, – сказал князь, – вы познакомились...

– Точно так-с, – отозвался Баур, шутя. – Мы с ним совсем приятели. И у меня на дому, и здесь беседовали.

Светлейший, улегшись на огромной софе враспяжку, снова начал было беседу о религии, уговаривая стоящего перед ним Саркиза креститься и бросить «мухоедову веру». Калмык так же упорно и умно стал доказывать, что все веры хороши. Его ясная и простая речь сводилась к тому, что надо лишь Бога бояться и жить праведно и честно... И не изменять родной вере...

Познания Саркиза, ясность разума, красноречие, самоуверенность и вообще одаренность природная – снова подивили князя. Он слушал и молчал.

– Ну, Бог с тобой! – сказал он наконец. – Верь как знаешь! А со временем я тебя все-таки усовещу и в христианство обращу. А теперь забота иная у меня. Ты мне нужен справиться одно важнейшее дело. Кроме тебя, некому справиться. Обещаешься ли ты послужить мне верой и правдой, не жалеючи себя... Всем разумом своим.

– Вестимо, ваша светлость... – отвечал Саркиз. – Все, что прикажете. Лишь бы по силе и по разуму пришлось.

– Уговор такой. Ты мне сослужи службу одну, немудреную, а я тебе волю дам. Ну воля – не диво. Ты и у Саблуковых жил как родной... Ну, я тебе обещаю пять тысяч рублей деньгами, чин, зачисление на службу и невесту из моих крестниц с приданым... Довольно или еще набавить?..

Красивое лицо Саркиза вспыхнуло и пошло пятнами, а губы дрогнули.

Вельможа попался ему на пути и хочет, стало быть, его «человеком» сделать. То, о чем он все мечтал втайне. Ведь это – все... Это дверь ко всему... Остальное уж от него самого зависеть будет, от его воли, умения, настойчивости.

– Что прикажете? Какое поручение? – спросил калмык глухо, от внутреннего волнения и бури на душе.

– А это, братец ты мой, теперь расписывать долго, да и пояснить с оника мудрено... Скажи я тебе, в чем дело, – ты не сообразишь и заартачишься, а с тобой ведь не совладаешь. Вишь ведь ты какой кованый, из-под молота уродился. А силком тоже нельзя заставлять... Дело не такое. Мы вот с ним все обсудим, – показал князь глазами на Баура, – а он уж тебя сам научит всему и приготовит потихоньку. Ты мне только обещай душу в дело положить, помня уговор... Поручение мое тебе – для меня вот какое дело! Сердечное дело... А уж что я тебе обещал – это все свято исполни... Ну... Обещаешься?..

– Могу ли? Сумею ли? – смутясь в первый раз, отозвался Саркиз, недоумевая и уже опасаясь, что князь надумал дело

мудренное.

– Отсюда, из Питера, – вдруг сказал князь, – один до Вены или Парижа, не зная иноземных наречий, – доедешь?

– Доеду! – быстро и самоуверенно выговорил Саркиз, как если бы ему сразу стало легче.

– Посланцем моим ко двору монарха Римской империи возьмешься ехать?

– Что ж? – выговорил Саркиз, подумав. – Если мне переводчиков дадут... да поручение разъяснят, отчего не ехать?

– Да ведь надо не калмыком являться, надо уметь себя держать; не дворовым из-под Казани и не скоморохом, а моим наперсником. Надо быть важным да гордым, чтоб рукой не достали... Можешь ли ты на себя напустить такую амбицию не по росту? – шутя произнес князь.

– Что ж рост? Рост ни при чем! – засмеялся Саркиз. – Иной богатырь меня вот за пазуху засунет и понесет, а я его умишко весь за щеку положить могу, как орех. Ведь новорожденные без амбиции этой на свет приходят, а уж потом ее на себя напускают тоже. Да вот я вам сейчас изображу, как я беседу поведу.

Саркиз отошел, прислонился к письменному столу князя, опираясь одной рукой и слегка выпятив грудь, закинув чуть-чуть голову назад, поднял другую руку и произнес с достоинством, мерно и холодно:

– Передайте господину министру, что я его прошу именем всероссийского вельможи, князя Таврического – отве-

чать мне прямо, без утайки и без проволоочки. Согласен он? Да или нет?

Фигура Саркиза была в это мгновение так элегантно горда и надменна, а слова эти были так произнесены, что князь сразу вскочил с софы на ноги и усталился на калмыка.

– Фу-ты, проклятый!.. – выговорил он.

Баур, тарашивший глаза на актера, тоже ахнул.

– Каков? – обернулся князь к любимцу.

– Чудодей, – проговорил Баур.

– Оборотень как есть. Ну, Саркизка, я сам теперь за тебя порукой, что ты мне справишь порученье миру на аханье! – весело воскликнул князь. – Помни, родимый, только одно: не робеть. Не робеть! Сробеешь – все пропало! А коли этак вот обернуться можешь, как сейчас, – диво!

– Уж коли я, после моей трущобы, первый раз будучи поставлен пред очи светлейшего князя Таврического, не сробел, – промолвил Саркиз, – так что ж мне другие. В этом будьте благонадежны... Робеть я не умею.

– Не умеешь? – рассмеялся князь.

– Нет. Никто меня этому не обучил, откуда же мне уметь...

Потемкин начал уже хохотать.

– Молодец. Ей-Богу. Эко судьба меня подарила. Фортуна-то меня балует, что мне тебя послала. Не поезжай я, умница, к Саблукову – так бы я тебя и не нашел. Вся сила была в этой поездке, а то бы ничего не было.

– Не привези меня в Петербург господин Саблуков – ничего бы не было. Вестимо, – отозвался Саркиз.

– Это верно.

– А не родись я на свете, и привезти бы он меня не мог.

– Еще того вернее! – вскрикнул Потемкин.

– Стало быть, вся сила не в князе, а в Саркизе, что он есть на свете! – усмехаясь, вымолвил калмычонок, хитро щуря свои красивые глаза.

– Каков гусь? – обернулся князь к Бауру. – Ну, что скажешь? Не справит он наше дело на славу?

– Справит, Григорий Александрыч. Я его день один как знаю, а голову за него тоже прозакладую. Видать птицу по полету.

– Ну, ступайте... Ты его готовь: все поясни и начни хоть с завтрашнего же дня муштровать и обучать... Да и прочее все готовь без проволоочки. Нам ведь здесь долго не сидеть. Через месяца два надо и выезжать на войну. Время дорого. Когда будет он обучен совсем, привози ко мне. Я его испытую и, коли годен – хорошо, а негоден, – отправлю обратно к Саблукову, а ты найдешь другого. Питер не клином сошелся.

– Лучше не выищем, Григорий Александрыч. Уж верьте моему глазу. Я не ошибусь.

– Ну и славу Богу. Прощай, Саркизка. Учись серьезно, – выговорил князь. – Чем скорее обучишься к исправленью должности, тем я тебя лучше награжу.

Баур и Саркиз откланялись, пройдя опять особым ходом,

и скоро уехали, а князь остался один, задумался и потом шепнул:

– Ну, погоди же!.. Угощу я! Вишь, переодетые гонцы в Вену и в Константинополь ездят... Ну, вот и мы наряжаться начнем.

Через три дня после этой беседы с князем Саркиз простился в доме Саблуковых и выехал по Новгородской дороге. Калмычонок был задумчив и даже грустен...

Не по силам ли взял он на себя порученье... Или, как все истые умницы, – умалял свои силы...

XIX

И снова, вдруг, сразу, притих Таврический дворец!..

Князь снова хворал своей диковинной, всех удивляющей и самому непонятной, болезнью, капризно и внезапно являвшейся к нему и покидавшей его, по-видимому, без всякой причины, без предварения и без последствий.

Смутно чувствовал сам князь, когда болезнь должна прийти и когда уйдет; смутно понимал, почему она идет, но объяснять другим не любил.

Князь, как всегда, не выходил из уборной, изредка переходя в кабинет. Не занимался ничем, не принимал никого, не притронулся пальцем ни к одному письму, ни к одной бумаге или депеше, как бы она по печати и внешнему виду важна ни была.

Теперь не было вокруг него, здесь в кабинете, и во всем Петербурге, и в России, и в целой Европе, даже на всей земле этой подлунной, ничего важного – все прах и тлен! Важное есть только «там».

На этот раз недуг необыкновенного и странно-гениально-го человека сказался сильнее, чем когда-либо...

– Чем изгнать из себя этого беса! – восклицал князь один, громко разговаривая сам с собой. – Да, я верю, что бесы входили в человек и входят; верю, что они повергали их на землю... И теперь могут... со мной нету того, кто мог словом

своим изгонять их...

Князь снова послал за духовником.

Он захотел исповедаться и причаститься.

Отец Лаврентий явился и с участием отнесся к духовному сыну...

Если не ум, то душа священника поняла, с кем она имеет дело в лице этого «сильного мира» временщика, баловня Фортуны и друга великой монархии.

Отец Лаврентий три дня прожил в Таврическом дворце, служа в домовый церкви или сидя в спальне князя. Целый вечер с остановками, с беседой и разъяснением многих слов читал он князю правило...

И что же сказал духовный сын на исповеди?.. Почему оба плакали?..

Почему, повергнутый пред наложником, этот русский богатырь своими рыданиями заставил и священника слезы утирать...

– Бог простит... – повторял духовник, и голос его дрожал чувством.

– Кому много дано – с того много и взыщется! – шептал чрез силу исповедующийся, от избытка чувства как бы лишившись голоса.

На совести князя не было, конечно, ни одного преступления, не было даже из ряда выходящего греха... Но этот неведомый «бес», который потряс его и поверг пред наложником, смутил, видно, добрую душу пастыря...

Зато наутро за обедней князь причастился, и лицо его

просветлело на несколько часов... Тишь сошла на душу... Но ненадолго...

Он отпустил духовника домой, но, чувствуя себя ненадежным, заперся на ключ в своем кабинете, не велев принимать даже племянницу Браницкую.

И здесь, один-одинехонек, лежа на софе полуодетый, князь промучился еще трое суток, почти не принимая пищи... Из всего приносимого Дмитрием он дотронулся только до хлеба и молока.

Он маялся умом и сердцем, как приговоренный преступник пред казнью.

И куча разнородных помыслов, чувств и порывов – смеялись в душе его, прилетая и уносясь будто рой за роем...

Он томился в этой тоске, проклинал все и всех, плакал горько о себе и о любимых им. Смеялся едко и метко над собой, над всеми... Клеймил остроумно всех и вся... Молился Богу на коленях искренно и горячо... Боялся смерти, которая идет... придет! Может быть, и не скоро, но все-таки придет!.. А затем вдруг искренно желал умереть, скорее, сейчас...

– Все прах и тлен! Там только будет разумно все, там – добро, истина, свет. А здесь одно обидное для души бессмертной земное скоморошество. Это не жизнь, не бытие – это святки, маскарад, позорище и торжище, продажа и купля житейского хлама и рухляди. А какой рухляди? Чести, славы, нравственности, долга христианского, обязанностей се-

мейных и гражданских – всего... всего...

– И все идет и пройдет... Все пройдет! А останется ли Таврида?..

– Таврида. Клок грошовой земли. Миллионная частица земного шара, который сам миллионная частица Божьего здания, бесконечного и непроникновенного надменному разуму.

– Срам и грех кругом во всех, в тебе самом, паяц таврический, грешник любый. Раб утробы своей паскудной. Червь! Да, червь! Да не перед одним лишь Господом, а червь и перед одной вот этой звездочкой, что мигает... Господи, прости мне... Избави меня от лукавого... т. е. от зла, от неправды, от суеты мирской, грешной и постыдной, да и постылой. Да, я уйду, спасуся в обитель какую на краю России, в Соловках, на Афоне. В узкой келье иноком, с просфорой и водой ключевой я буду счастлив. Я буду молиться, наложу на себя епитимью, вериги в два пуда надену... Истомлю проклятое тело, убью поганую утробу... Все ведь сгниет в гробу... Так я теперь умалю поживу червям... Я стану достоин предстать пред Судом твоим, явлюся чистым, унаследую жизнь вечную. Господи, смилуйся!.. Спаси и помилуй раба твоего Григория...

Так стенаньями молился богатырь духом и телом, иногда в темноте ночи, стоя на коленях около окна и глядя туда, где загадочными алмазами вспыхивали звезды и где, быть может, и есть все то, чего он здесь всю жизнь искал... Оно там!..

А слезы, крупные и горячие, лились по лицу... И будто легче становилось от них на душе. Будто очищаются, омываясь в них, голова и сердце от ига помыслов, жгучих до боли!.. Неземной боли!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Прошло две недели. Князь снова был здоров, весел и деятелен. Снова более чем прежде ухаживал он и просиживал вечера у Venus de Mitau.

Однажды в Зимнем дворце, когда князь, выйдя от государыни, стоял окруженный придворными и беседовал с кем-то, он, чуткий на ухо, услышал за собой горячий спор вполголоса двух пожилых сенаторов.

– Не я один. Уже многие слышали и знают! – говорил один.

– Славны бубны за горами! – отозвался другой.

– Да не за горами, а здесь... Понимаете: здесь! С собой привезла весь миллион!

– Золотом? сколько же это весом будет? На это надо особый экипаж! Полноте. Питерские выдумки!

– Персидскими, говорят, бумагами! Вот как наши новые ассигнации. Но миллион, батюшка! Миллион – чистоганом! А сама чистокровная персидская княжна и писаная красавица.

– Верно, все враки!

– Ох, маловерный! Ведь вот неловко только... А то бы

сейчас спросили, и сам князь вам бы сказал... Он лучше нас с вами знает и что за принцесса, и какой такой миллион.

– Почему?

– Потому что она уже послала к нему своих адъютантов, прося аудиенции по делу, из-за коего приехала сюда. Спросите вон князя.

Князь сделал вид, что не слышит ничего, и быстро вышел и уехал.

Вернувшись к себе и выйдя в подъезд, князь был тотчас окружен адъютантами-нахлебниками и дворовыми, которые всегда встречали его, а равно провожали при выездах.

– Кто дежурный? – спросил князь.

Один из адъютантов выдвинулся вперед, руки по швам.

– Ты?

– Я-с.

– Присылали к нам справляться приезжие персиды?

– Приезжал утром толмач княжны персидской, секретарь ее, спрашивал насчет приема у вашей светлости...

– Чего ж ты мне не доложил?.. Я буду сам у вас дела выпытывать. А?..

И голос князя зазвенел гневно... Адъютант молчал и только слегка переменялся в лице.

– Ну? Столбняк нашел!

– Я полагал, ваша светлость, что правитель канцелярии доложит, – дрожащим голосом проговорил офицер. – Секретарь прямо в канцелярию отнесся, а не ко мне... Я был

наверху, у вашей свет...

– То иное дело... Ну, прости, голубчик... Прав. Позвать дежурного по канцелярии.

Несколько человек зараз бросились по коридору и рассыпались по нижнему этажу... Двое побежали на квартиру чиновника. Князь не двигался и ждал в швейцарской.

«Загорелось!» – подумало несколько человек из офицеров.

«Приспичило! – подумали и дворовые. – А может, и важное дело».

– Кто там сегодня дежурный?.. – спросил князь.

– Петушков, – отозвался кто-то.

– Петушков? – повторил князь и что-то будто вспомнил... – Петушков? Что такое. Мне что-то сдается? А что?..

Все знали, что именно князю вспомнилось. Бумаги, подписанные светлейшим Петушковым Таврическим, еще вчера поминали здесь в швейцарской и хохотали опять до слез...

Князь огляделся... все кругом улыбались и ухмылялись.

– Чему вы, черти?

– Да оный Петушков, – заговорил, выступая вперед, дворецкий Спиридонов. – Петушков тот самый, Григорий Александрович, что надысь распотешил.

– Петушков? Что за дьявол! Не могу вспомнить. А что-то такое помню. Глупость он какую-то сделал.

Князь вспомнил, но не спрашивал, и никто не осмеливал-

ся сказать сам.

– Ему у нас теперь, – продолжал дворецкий, – другого звания во дворце нет, как «ваша светлость».

– А-а! Помню! Помню... – вскрикнул Потемкин. – Князь Петушков Таврический.

Князь рассмеялся, все подражали, и гулкий смех огласил швейцарскую как раз в то мгновение, когда черненький и вертлявый чиновник появился на рысях из коридора.

– Ты, ваша светлость, дежурный сегодня? – спросил его князь.

Петушков смутился и сразу оробел при этом титуле в устах самого князя... И он понял вопрос по-своему...

– Я не виноват-с. Я сказывал сколько раз, – залепетал он. – Вот все знают... Запрещал, бранился, грозил, а они знай свое... Я не виноват. Вот как пред Богом.

– Что? Что? Что?.. – произнес Потемкин. – Чучело огородное. Что ты плетешь!

– Они все с того разу зовут... Я не вин...

– Светлостью-то тебя величают? Пущай, поделом! Так ты и оставайся светлейший Петушков до скончания своего века. А ты отвечай мне теперь, как, будучи дежурным, смел не доложить мне об персиянах. А?.. Был сегодня секретарь?

– Был-с... Господин Баур взялся сам доложить вашей светлости, сказал, что это дело важное...

– И не доложил. Важное! А сам забыл. От чьего имени был секретарь?

– От имени персидской княжны, что прибыла в столицу по делу своему...

– Какое дело?

– Ходатайствовать насчет обиды и претерпенья от властей тамошних. Просить хочет сия княжна заступничества российского...

– Мне-то что ж! Нешто я могу персидским шахом командовать. Добро бы еще султан турецкий... Что ж я могу...

– Так секретарь сказывал! – извинился Петушков.

– Знаю, что не порешил... Прыток ты больно на ответ, – несколько серьезнее прибавил князь и сморщил брови. – Я еще, ваша светлость, у тебя в долгу.

Петушков уже со слезами на глазах упал на колени и выговорил:

– Простите!

– Ну, кто старое помянет, тому ведь глаз... как у меня вот – будет!.. Как звать эту княжну?

– Ея светлость, княжна Адидже-Халиль-Эмете-Исфагань, – скороговоркой протрещал бойко Петушков, стоя на коленях.

– Молодец... Как отзубрил. За это одно простить тебя следовало... А ну, повтори! Повтори!

Петушков шибко повторил длинное имя персидской княжны. Князь рассмеялся.

– Коли персиянка, то и мирзой тоже должна быть. Фамилия же эта по городу – Испагань. А правда, сказывают во

дворце, что эта княжна писаная красотка?

– Не могу знать, – отозвался чиновник.

– Так точно, ваша светлость, – вступился капитан Немцевич. – Я слышал в городе. Ей всего семнадцать лет...

– Красавица?.. А?

– Особенной красоты. Только ростом не взяла.

Князь двинулся по лестнице, а в швейцарской на этот раз долго оставались, толпились и беседовали сошедшиеся к нему навстречу. Предметом толков была персидская княжна, красавица, которой князь, очевидно, даже заглазно заинтересовался.

«Вот отчего ему „загорелось“ узнать о секретаре...» – решили все. И долго об этом толковали.

II

В столице уже за два дня пред тем начинали поговаривать, что большой дом одного кавказца-богача на Итальянской улице, именовавшего себя грузинским князем, осветился огнями. Полудворец стоял темен и необитаем уже с год. Владелец его, как говорили, проигрался в карты, уехал из столицы и скрывался от долгов.

Многие из питерских любителей новостей заинтересовались – кто такой мог нанять дорогое помещение. Конечно, далеко не бедный человек!

Общее любопытство еще более усилилось, когда стало известно, что полудворец занят приезжей из Тифлиса княжной, не только грузинской, а даже персидской, фамилия которой происходит от древнего рода Изфагань или Испагань.

А когда вслед за тем стоустая молва разнесла весть, что княжна не старуха и не старая дева, а семнадцатилетняя красавица, к тому же богачка, да к тому же еще и круглая сирота, то многие, даже пожилые сановники в столице, восторжались... А когда эта же молва присочинила, что юная и красивая сирота княжна желает будто бы найти себе мужа в Питере и сделаться российской подданной, то и молодежь зашевелилась...

Все чаще стали по Итальянской скакать и прогуливаться взад и вперед красивые всадники-гусары, мушкетеры. Появ-

лялись часто и экипажи шагом...

Всякий, проезжавший мимо «грузинского дома», умышленно или случайно поглядывал пристально в окна, стараясь увидеть кого-то. Но ни разу никто в окнах не увидел никакой красавицы... Видали только черных, наподобие тараканов, бородатых мужчин... Из дому тоже выезжали и выходили настоящие персияне, в халатах, черные как смоль, с длинными бородами, зачесанными клином на грудь, в черных мерлушечьих остроконечных шапках, с красивым оружием, украшенным самоцветными камнями. Все это была свита княжны. Сама же она вовсе не показывалась из дому.

Шутники в гвардии скоро распустили слух, что княжне семьдесят семь лет и что она страшнее самой бабы-яги.

Спорить никто не мог: никто лично княжну не видал. Многие молодцы приуныли от разочарования.

– Быть не может! – решили некоторые, которым хотелось от скуки, чтобы княжна была красавицей.

Начались справки.

Кто первым пустил слух, что княжна столетняя баба-яга, что ей не семнадцать, а семьдесят семь лет, что она страшна как ведьма.

Кто был этот виновник – было неизвестно; равно было неведомо тоже, кто пустил слух и о красоте и юности.

Прошла неделя... Всадники и проезжие в колясках цугом мимо «грузинского дома» поуменьшились числом, так как кто-то наверное узнал и кому-то передал, что персидская

княжна действительно женщина под пятьдесят лет, дурнорожа, беззубая и лысая.

Смеху было немало в кружках гвардейцев.

– Из-за кого скакали по Итальянской!

Но однажды утром, известный своим пронырством, громадным состоянием и отчаянной головой, офицер лейб-гусарского эскадрона граф Велемирский прискакал в трактир, где собирались офицеры разных полков, и объявил:

– Сам видел! Княжну видел! – заявил он. – Красавица божественная!.. Маленькая, белокурая, беленькая, с голубыми глазами...

Велемирский присутствовал при выезде княжны из дому. И опять всполошились все сразу...

Опять появились всадники на Итальянской и разъезжали, усердно заглядывая в окна.

– Авось покажется красавица за стеклом.

Молва Петрограда не ошиблась. Действительно, «грузинский дом» был занят приезжей чрез Москву княжной. По сведениям полиции, это была княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань, прибывшая со свитой из пределов Персии.

При княжне, семнадцатилетней девице, был опекун, ее дядя – Мирза-Ибрагим-Абд-Улла со многими другими мудреными именами; духовник княжны – Абдурахим-Талеб, тоже со многими именами, переводчик – Саид-Аль-Рашид, трое молодых адъютантов, из которых Амалат-Гассан, еще юноша, был родственник княжны, две старые персиянки,

вроде статс-дам – Фатьма и Абаде, и затем с полдюжины разных персиян, в разных должностях... Остальные, человек с двадцать, были наемные: лакеи, кучера, повара, кондитеры и дворники, и были все из русских: одни из Москвы, другие наняты по приезду в Петербург.

Княжне было действительно не более семнадцати лет, а на вид и того менее, так как она была маленького роста и казалась девочкой лет четырнадцати.

Княжна с приезда никуда не показывалась и почти ни разу не выехала, хотя два экипажа и два цуга красивых лошадей были тотчас куплены для ее выездов.

Княжна Эмете, как говорили, сидела все с своим духовником и, вероятно, много по-своему Богу молилась или по целым вечерам училась по-русски с Саид-аль-Рашидом.

Дело, по которому княжна Эмете Изфаганова приехала в Петербург, было очень важное: она явилась ходатайствовать о защите своих прав на огромные поместья, которые ее отец имел в Грузии и которые у нее дальние родственники хотели оттягать, опираясь на шаха. Ябедники поехали в Тегеран, а княжна поехала в Петербург. Только один двоюродный брат ее, Гассан, принял ее сторону и последовал за ней в Россию. Он же, по слухам в городе, считался ее женихом и собирался жениться на ней в случае успеха, ибо, кроме огромных поместий, у нее будто бы миллион приданого.

Когда юность, сиротство и богатство княжны уже не подлежали никакому сомнению, когда лейб-гусар Велемирский

протрубил о божественной красоте княжны Эмете, которую собственными глазами видел в двух шагах расстояния, — многие сановники и многие дамы стали пробовать из тщеславия познакомиться с персидской красавицей, обладательницей миллиона... Но попытки не увенчались успехом. Некоторые пролезли даже в дом и отважно заявили о желании «спознакомиться» с ее светлостью. Но назойливых гостей принял переводчик княжны, вечно мрачный, с черно-сизой головой, Саид Дербент, и объявил, что Адидже-Эмете не примет никого, пока не побывает у князя Таврического и не справит дела, за которым пожаловала в Питер. Опекун и духовник княжны тоже появлялись, но, не говоря и не понимая ни слова по-русски, лопотали что-то по-своему, переговариваясь с переводчиком, и недружелюбно, цепными псами, поглядывали на гостей.

Однажды, благодаря назойливости питерцев, случилось и маленькое происшествие... В числе барынь, настойчиво и бесцеремонно желавших пролезть к княжне, была одна княгиня Рассадкина, вдова, у которой был единственный сын, малый лет тридцати, мушкетер, и которого княгиня все стремилась усердно, но неудачно, на ком-нибудь женить, разумеется, при условии хорошего приданого. Прослышав про новоявленную сироту княжну из Персидской страны, обладательницу миллиона, княгиня пищи и сна лишилась. Стала она мечтать женить сына Капитошу на княжне Эмете.

«Вот бы партия-то! Вот бы озлилась Анна Афанасьевна...

Лопнул бы со злости Павел Кондратьич... Ахнул бы весь Петербург... Вот бы счастье Капитоше!»

Разумеется, она недолго мечтала и скоро начала действовать... Сто рублей истратила она на подкуп людей из русских и на выведывание у них подноготной о княжне. Но русская дворня княжны сама ничего не знала о своей новой барышне... Переводчик Дербент был не словоохотлив и ни с кем из нанятых людей не разговаривал, только разве когда надо было что приказать сделать... Абдурахим и Мирза-Ибрагим вовсе по-русски не знали. Старая Фатьма и пожилая Абаде совсем не показывались из верхних горниц и, как ходил между дворовыми слух, обе только ели, а затем спали беспробудно и день, и ночь...

Перепробовав все средства, княгиня Рассадкина решилась и поехала самолично добиваться знакомства.

«Будь что будет! А ради Капитоши я хоть на крепостную стену с пушкой полезу!» – решила княгиня.

Когда о княгине доложили, Саид-Дербент принял ее в гостиной и на выраженное ею на все лады желание познакомиться с княжной отвечал прямо, с восточным хладнокровием, то же самое, что и другим:

– Теперь нельзя. Позднее, пожалуй, можно...

Но княгиня, тщетно поспорив, заявила наконец господину Дербентову, «что она вот как села, так и будет, что кочан на гряде», сидеть до тех пор, пока княжна не допустит ее до себя, так как она, во-первых, сама русская княгиня и «не

хуже персидской княжны», а во-вторых, исполнять прихоти «всякого служителя» не намерена.

– Эдо kdo злужидель? – мрачно и гробовым голосом спросил Саид-Аль-Рашид-Дербент, произносивший русские слова правильно, но заменявший одни согласные буквы другими.

– Вы служитель княжны... И должны доложить обо мне, – заявила княгиня. – Не захочет она сама меня принять, тогда иное дело... Я плюну и уеду.

Дербент крикнул лакея-персиянина и что-то приказал ему. Через минуту явились свирепо угрюмые опекун Ибрагим-Абд-Улла и духовник Абдурахим-Талеп, а с ними еще два персиянина... Все затараторили по-своему, быстро, часто и хрипливо.

И переводчик заявил княгине, что вот господин Мирза-Ибрагим-Абд-Улла приказал просить княгиню выходить и уезжать «с добротой и со здоровьем».

Дербент, верно, хотел сказать – подобра-поздорову. В противном случае Мирза-Ибрагим грозит вывести ее из дому.

Княгиня рассвирепела. Персиды! Дрянь! Мразь! Чучелы огородные! И смеют с ней, с русской княгиней!..

Произошло маленькое неприятное для всех приключение... Княгиня бранилась и не шла...

Персияне полопотали опять, как бы соображаясь, и наконец Мирза-Ибрагим-Абд-Улла приказал слугам княгиню

взять под локотки и за талию.

И персидские невежи повели вон и вывели на подъезд, где она, бранясь и крича на всю Итальянскую, грозясь чуть не войной России с Персией, сама уже влезла в свой рыдван и плюнула.

А пока выпроваживали княгиню из гостиной, маленькая фигурка, с прелестным смугло-румяным личиком, одетая в алое бархатное платье, выглядывала в приотворенную из гостиной дверь и смеялась до слез всей этой сумятице. Это была, по всей вероятности, сама юная княжна Изфаганова.

III

Однажды, около полудня, в большой зале Таврического дворца, в приемный день, вся толпа посетителей и просителей вдруг особенно оживилась...

У подъезда князя появилась карета персидской княжны, а адъютант пробежал докладывать об ее прибытии.

У князя Потемкина был прием, но начался он недавно, и зала была полна сановников, генералов и, как всегда, всякий почти день – полна всяким народом, от чужеземцев, секретарей иностранных резидентов и банкиров – до простых дворян, провинциалов и мелких чинов военных, штатских, прапорщиков и регистраторов... На этот раз была кучка купцов из Новгорода, явившихся хлопотать о важном торговом деле.

Говор тихий и сдержанный все-таки гудел в зале, но когда появилась на дворе голубая карета цугом вороных коней, с лакеями на запятках, в высоких мерлушечьих колпаках, в халатах, расшитых позументами и с кинжалами за поясами, все догадались, бросили беседу и двинулись к окнам.

Раздались голоса:

– Это княжна Изфаганова!

– Персидская княжна!

– Персидка с Итальянской!

Адъютанты пробежали обратно чрез залу на лестницу...

За ними вышел любимец князя, полковник Баур, и тоже пошел навстречу к прибывшей.

Все обернулись к дверям, и чрез несколько минут в зале, на глазах у всех, под руку с Бауром появилась молодая девушка, в алом бархатном платье, почти европейского покроя, с корсажем и рукавами, вышитыми золотом. Только на светло-белокурых волосах, которые вились кудрями, не было по обычаю пудры. На голове была серебристая круглая шапочка, а с нее на плечи и до пояса падал шелковый белый тонкий вуаль или покров, вышитый по краям цветами серебром. На шапочке горели огнем крупные бриллианты и рубины, на талии был пояс, сплошь унизанный огромными бирюзами. На ручках красавицы была тоже масса колец, и они тоже искрились драгоценными камнями, а маленькие ножки были обуты в алые шелковые башмаки, на чересчур высоких каблуках, от которых княжна видимо шла с трудом и с особенной осторожностью...

Княжна Эмете окинула всю публику в зале холодным и гордым взглядом, но многие из сановников заметили, что это была напускная восточная важность... или «щит смущенья», чтобы не ударить лицом в грязь перед чужими людьми. Видно было, что к этому миловидному свеженькому личику, с прелестным носиком и с синими, почти зеленоватыми глазками, не шла важность и напыщенная холодность... Обладательнице этих розовых губок и зеленых глазок – век бы смеяться.

За княжной, почти вплотную, стали рядом, в великолепных цветных шелковых халатах, ее опекун и духовник, с клинообразными, черными как уголь бородами и с дорогим оружием. На кинжалах и шашках горели алмазы, а рукоятки были тоже сплошь залиты бирюзой.

Переводчик Саид-Дербент был сбоку – и не рядом с княжной, и не сзади ее. Его костюм был простой, так как он не был ни дворянин, ни богач, а попал в свиту княжны только ради знания языков – русского и персидского...

Сзади всех, около дверей, стала стенкой свита: адъютанты с Гассаном и две женщины, Абаде и Фатьма. Они несколько дико озирали залу и присутствующих. Мрачнее всех выглядывал духовник княжны – Абдурахим. Он будто злился, что его привезли сюда.

Баур тотчас же предложил княжне кресло, которое приставил камер-лакей. Девушка села, бесцеремонно вытянув ножки из-под своего алого платья, и смело оглядывала всех, – и генералов, и сенаторов, и офицеров, и купцов. И хотя она видела и понимала, что привлекает исключительное внимание, однако не смущалась и упорно глядела в глаза всякому, смотревшему прямо на нее.

В зале снова начался говор, но уж исключительно о княжне.

– Хорошенькая! Прелесть! Котенок! Смотрите, совсем кошечка, – слышалось в одном углу.

– А ведь прелесть княжна-то! Этакую женушку иному и

русскому молодцу не стыдно за себя взять.

– Хороша пташка... Ну и перышки тоже не плохи! Смотрите, на ермолке-то каменьев что у нее нацеплено. Собери их все, так за одну эту горсточку целую вотчину купишь, – говорили старики.

– Вот красавица-то! Глазки-то бирюзовые... А губки-то!

– Выкрашены сандалом.

– Полно врать... От природы. Прелесть! – говорили чиновники и офицеры, просители, адъютанты князя и другая молодежь.

– Бархат-то на ней, сдается, французский, а не свой. Знать, в Персии его не изловчились делать! – заметил один из новгородцев.

– А у нас умеют? Вестимо, и к ним туда француз да немец пролез и шибче всех, поди, торгует, – отвечал другой...

– В полчаса времени, братец ты мой, можно в нее врезаться и без ума без памяти, – решил в своем углу и заявил товарищу капитан Немцевич.

Княжна между тем обратилась к своему опекуну и тихо заговорила с ним по-своему. Странные и дикие звуки незнакомого языка долетали до слуха публики... И тотчас горячо заспорили о том – труден ли персидский язык для изучения... Одни уверяли, что «дело плевое», а другой уверял, что «вовсеки не осилишь». Никто из спорящих, разумеется, не знал ни единого персидского слова.

Князь, который занят был в кабинете с резидентом импе-

ратора Леопольда, поневоле заставлял княжну Эмете дожидаться в зале.

Немец-австриец был в этот день в Таврическом дворце по особому важному делу, почти с миссией от своего правительства «уломать» князя Потемкина. Венский кабинет знал отлично положение дел в России и даже новые веяния при дворе, недавнее значение все возвышавшегося в фаворе и могуществе молоденького двадцатичетырехлетнего флигель-адъютанта Зубова... Все мелкие интриги двора и приближенных царицы российской были в Вене хорошо известны благодаря Кобенцелю. Князь Потемкин не по слухам, а по их достовернейшим сведениям падал во мнении императрицы и лишался постепенно прежнего значения. Но насколько был он близок к полному падению и насколько был еще в данную минуту силен – было неизвестно. Это могло знать одно лицо – сама императрица Всероссийская, и никто больше. А между тем время было дорого. Надо было как можно скорее заставить Россию заключить мир с Портою и никак не допускать открытия вновь кампании и военных действий на Дунае.

А главный враг мира с султаном был князь. Пока Зубов поднимется и приобретет полное влияние на ум стареющей повелительницы северного колосса, Потемкин успеет уговорить царицу поставить на своем – вернуться в армию и начать снова погром издыхающей Турции...

Австриец поднялся наконец и пошел вон. Князь остался

один, потянувшись как после сна, сладко и протяжно охнул.

– Экий леший, – выговорил он. – Умаял! Точно в телеге – растрясло... Ну, теперь надо приниматься за княжну Эмете... или как там ее... Надо в нее влюбиться, а других хоть на время побоку. Что делать? Персидская княжна интереснее во сто крат! Кого ни спроси, ахают – красавица писаная.

Князь постоял и подумал, соображая:

«Выходить?.. Или сюда просить? Нет, черт с ними. Да и лучше при всех. На глазах столичных мельниц куры персидке строить начну. Пусть смотрят и разносят по всему городу. Да и завидуют!»

Князь огляделся в зеркало, поправил кружево на груди и, обтянув на себе камзол, молодежато вышел в залу, не медвежьей, как всегда, походкой, а легкой и элегантной.

Подумаешь, и впрямь, что ли, захотелось вдруг прихотливому баловню счастья понравиться персидской красавице.

При появлении на пороге светлейшего генерал-фельдмаршала все зашевелилось и двинулось, низко кланяясь все-сильному временщику.

IV

После первого же приветствия Потемкин стал пристально вглядываться в личико княжны... Все заметили, по выражению его лица, что маленькая персиянка сразу произвела на князя особенно сильное впечатление. Известная всем слабость его к прекрасному полу наглядно сказала здесь тотчас же... Князь улыбался, голос его понизился и стал вежливо-ласков; он, казалось, не знал, как любезнее обойтись с этой прелестной и элегантной гостьей, явившейся сюда как в сказке царевны из-за тридевяти земель. Стоя пред маленькой девушкой, он казался еще выше, огромнее, колоссальнее, и его любезничание было еще смешнее. А княжна, наоборот, казалась теперь около богатыря князя еще меньше ростом...

«Вот уж и впрямь черт с младенцем связался!» – подумал про себя пословицей один остряк генерал, враг князя.

Княжна раскланялась и присела, совсем как бы придворная дама европейского государства, а не Персии, но затем она приложила руку ко лбу, потом к сердцу и сказала несколько слов по-своему... Выступивший на шаг вперед Саид-Дербент объявил князю громким, но странным русским языком, благодаря употреблению одних согласных вместо других, что княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань – дочь именитого Мирзы – приветствует всем разумом и серд-

цем славного вельможу князя, правую руку российской царицы, душу и разум великой империи россиян, победителя оттоман, покорителя стран и народов Европы и Азии, устроителя городов и насадителя просвещения, добродетели и правосудия...

Князь отблагодарил и сказал, что рад видеть в Петербурге такую замечательную красавицу, как княжна Изфаганова.

Дербент передал девушке слова его... Она улыбнулась и заговорила более мягким голосом, как-то вкрадчиво и кокетливо щуря свои зеленоватые глазки на богатыря.

Переводчик выслушал и перевел по-русски:

– Гняжна Эмете Изфагань сказывал гнязью: в персидскэм царства замедил все луди, чдо деперь солнца не дакой светлый, как прежде был... Эдо слава герой гнязья Даврической больше солнца сведлый деперь... Солнца другой места деперь на земля, а гнязья Даврической первый места.

Князь добродушно рассмеялся восточному комплименту княжны. Он отвечал:

– Моя слава не может затмить ослепительные лучи солнца, а вот прекрасные черты лица и небесные очи, которые я теперь имею счастье зреть, действительно ослепляют и очаровывают сердце. Я пленник и раб княжны Эмете. Пусть она приказывает. Ее желания будут мне повелениями.

Саид-Аль-Рашид-Дербент стал медленно передавать, и красавица, слушавшая с опущенными глазами переводчика, кокетливо, стыдливо вдруг вскинула их на Потемкина и гля-

нула ему в лицо уже не с восточной сдержанностью.

– Шустрый бесенок! – шепнул один сановник соседу.

«Вишь, кошечка какая... Того и гляди, нашего князя цап-царапнет», – подумал остряк генерал.

– Фу-ты, ну-ты! Отдай все, да мало... Ангелок персидка! – чуть не сказал вслух один старик сановник, стоя невдалеке от княжны и давно уж любуясь ею во все глаза.

Потемкин между тем спросил, какое дело привело княжну в Россию и в столицу и чем он может служить ей. Дербент начал речь, приготовленную, очевидно, заранее... и начал издавека, чуть не с потопа... Смысл был такой:

«Когда, по воле Аллаха, началась на земле великая распря и мир был потрясен и поколеблен злодеяниями суннитов и подвигами шиитов... тогда некоторый святой муж, пустынный, избранник Божий и последователь Магомета...»

Но князь вдруг прервал речь Дербента и попросил его предложить княжне пройти в кабинет и там объяснить свое дело.

По слову переводчика, все персияне, даже две старухи, двинулись с места, но Потемкин приостановил их и заявил, что достаточно, если княжна с одним переводчиком пройдет к нему.

Княжна тотчас охотно и весело согласилась. Ибрагим что-то пробурчал, но Дербент зарычал на него – и опекун покорился. Потемкин попросил жестом княжну идти вперед и двинулся за ней вслед, а Дербент, важно и с высока своего

величия, озираясь на всю публику, зашагал за князем.

Когда все трое скрылись за дверями кабинета, в зале поднялся сдержанный говор. У всех на языке была, конечно, княжна. В группе сановников слышалось восклицание:

– Кошечка! Просто котенок!

– Какая прелестница – каналья.

– Вон, батюшка, в Персии-то какие девчурочки водятся, хоть в карман сажай! – нежно говорил сенатор.

– А ведь наш князь на нее шибко зарился, – заметил капитан Немцевич.

– Замечательного ума девица. По-русски учится и скоро говорить начнет! – объяснял Баур кучке собравшихся вокруг него лиц.

На этот раз всем чаявшим приема пришлось дожидаться. Княжна просидела в кабинете около часу. Когда, вскоре после ее ухода со светлейшим, сунулся было в кабинет с докладом один адъютант, то мгновенно появился обратно в зале несколько быстрее и с физиономией, как сказывается, «ошпаренного». После этого уж никто не шел в кабинет и всякому вновь прибывшему курьеру советовали обождать и не соваться.

– Надо так полагать, что дело княжны незауряд важное или любопытное для светлейшего! – пошутил генерал-остряк.

Многие ухмылялись, переглядываясь...

Наконец дверь отворилась, князь весело смеялся и, наги-

баясь насколько мог, вел гостью под руку... Княжна, несмотря на свои чрезмерно высокие каблуки, все-таки, казалось, вытягивалась и становилась на цыпочки, чтобы подать руку богатырю. Саид-Дербент шагал за ними.

Княжна Эмете, двигаясь чрез залу, произнесла несколько слов с расстановкой по-русски, с трудом выговаривая, но правильно и почти без иноземного акцента.

– Еще надо учить. Много учить! – говорила она, кокетливо заглядывая в лицо нагибавшегося к ней князя. – Я скоро... скоро... Тогда я без Дербент с князь говорить будет сама.

Все слышали слова княжны, и многие удивлялись чистоте произношения.

Светлейший не ограничился тем, чтобы проводить княжну до дверей залы. Он прошел далее... Свита княжны и Баур последовали за ним гурьбой.

К изумлению всех, князь проводил красавицу по всей лестнице до швейцарской и дождался, пока она села в карету и послала ему ручкой поцелуй.

Тогда он двинулся обратно, медленно переступая и тяжело поднимаясь по ступеням лестницы. Он шел усмехаясь и опустив глаза в пол, будто вспоминая или соображая нечто забавное и приятное вместе... На пороге дверей залы он остановился.

– Какова, господа, княжна? – сказал он громко, обращаясь ко всем и не глядя ни на кого в отдельности.

Ближайшие отвечали комплиментами.

– Предрекаю, господа, заранее, что княжна многих у нас в Питере очарует и одурачит. Помяните мое слово...

«Не суди по себе!» – подумали многие в ответ. Князь прошел в кабинет и продолжал прием просителей и докладчиков.

Разумеется, через часа два после разъезда из дворца всех присутствовавших на приеме, – вея столица уже знала, как князь принял, час целый беседовал через переводчика и, главное, как проводил до подъезда красавицу княжну.

Вечером многие уже решили, что княжне Эмете не миновать когтей влюбчивого и настойчивого невского Алкивиада.

У Зубова на вечере – гости и друзья его советовали ему взять под свою защиту, от распущенного нрава князя, сироту персиянку.

– Вы сами можете тоже хлопотать по ее делу до правительства, – говорили гости Зубова. – По крайней мере, честь при ней останется. А он ее загубит, ради праздности. Ведь этот срам на нас, на столицу ляжет.

Зубов отговаривался и не хотел вмешиваться, чтобы подливать масла в огонь, т. е. окончательно сломить свои отношения с князем.

– Я ему и не в силах помешать, коли захочет блажить, – говорил Зубов. – Не стеречь же мне эту приезжую княжну. У нее свои опекуны есть, с ней приехали. Им нечего Потемкина бояться.

– Срам будет... До персидского шаха срам на Россию и русских людей дойдет. Да и жаль девочку, сироту круглую! – уговаривали Зубова.

– Там увидим! – уступил наконец хозяин.

Наутро все уже знали подробности о княжне и о том, что князь в нее с приезда влюблен, и давно у нее тайно и скрытно на Итальянской сидит до полуночи. Как всегда сочинили... на этот раз выдумка вышла предсказанием.

В тот же вечер князь действительно поехал к княжне Эмете и просидел у нее до одиннадцати часов вечера. Впрочем, князь и не скрывал этого визита. Все могли видеть у подъезда «грузинского дома» экипаж и конвой светлейшего.

Прошла неделя.

По-видимому, князь был действительно быстро очарован и пленен маленькой Эмете. Весь город знал уже, что светлейший иногда далеко за полночь засиживается в «грузинском доме», который теперь стали звать в шутку: «Тавридо-персидский дворец».

Все, лично видевшие княжну Эмете, заявляли и сами сознавались, что, как мимолетная прихоть для влюбчивого человека – интереснее ничего выдумать или требовать было нельзя.

Богатство, знатное происхождение, красота, юность, ум, грация, кокетство и тонкая светская живость, природная, изящная, сдержанная в границах приличия, – все это было в княжне Изфагановой. И если всякий без различия юный мо-

лодец гвардеец или придворный не прочь бы был влюбиться и жениться на княжне, то почему пятидесятилетнему Потемкину не увлечься кокеткой, которая, вероятно, из личных выгод, а отчасти и из тщеславия, усердно кокетничает с ним... Да и почему знать расчеты персидской крошки княжны. Как она ни богата, а князь Потемкин богаче... Как она ни знатна там у себя за Каспием, а светлейший еще знатнее и славен на всю Европу и Азию... И он ведь не женат. А холостая жизнь ему, быть может, уже начинает прискучивать... Как раз может жениться, потому что уже давно пора. Холостяки, враги брака, всегда попадают в сети не ранее сорока и не позже пятидесяти или пятидесяти пяти годов. А князю как раз эти самые года подошли. Почему знать, не сообразила ли и не взвесила ли все эти обстоятельства юная кокетка Эмете? А может ли он, мужчина за пятьдесят лет, понравиться ей, девушке семнадцати... Да ведь он – «знаменитый князь Тавриды», а не простой смертный. Да таким маленьким женщинам, говорят, всегда нравятся преимущественно богатыри, и наоборот – князь-колосс, с косою саженью в плечах, может по той же причине влюбиться в эту миниатюрную девушку.

Он же любит, вдобавок, все восточное – поклонник усердный глаз, бровей и кос цвета воронова крыла, шальвар, ятаганов, гашиша и кальяна... Чем Эмете не «предмет» для князя. И чем персиянка не невеста для старого холостяка.

Так за эту неделю судили ежедневно по гостиным и при-

емным, на вечерах и балах.

Чтобы не прерывать занятий делами и в то же время видаться с очаровательницей, князь Потемкин стал у нее принимать курьеров и даже назначил, к соблазну многих, вечерний доклад в том же «грузинском доме», где он совсем расположился как у себя. В одной из гостиных был поставлен письменный стол для бумаг и письма, а в другой ожидали докладчики.

Два раза княжна была вечером в гостях у князя, но других гостей не было. Она приезжала совершенно одна, без опекунов и даже без переводчика, так как начала будто бы сносно мараковать по-русски. Этому быстрому чересчур изучению русского языка, разумеется, никто не поверил, так как с приезда княжны в столицу едва прошло три недели.

Сплетники уверяли, что княжна пользовалась в беседах с Потемкиным по-прежнему переводчиком и у себя дома, и у князя в гостях, но что Саид-Аль-Рашида временно отстранили, заменив какой-то старухой армянкой, найденной в столице и поселенной в Таврическом дворце. А эта армянка закуплена князем, чтобы ничего не видеть, что увидит, и ничего не слышать, что услышит, а главное – не болтать.

– Ну, вот, чрез армяшку сладкопевно и беседуют они, – говорили, подсмеиваясь, в столице.

После двух или трех визитов к княжне Потемкин сvez к ней однажды и своего виртуоза, о котором вспомнил.

Самозванный маркиз, не вызываемый князем для игры, со-

всем пропадал по целым дням и ночам из дворца, болтаясь по разным гербергам. Перезнакомившись со многими офицерами, он бывал и в гостях, но играть не мог нигде.

Только однажды, под величайшим секретом, сыграл он в доме богача графа Велемирского – для него и его товарищей.

Князь, поместивший и обставивший музыканта у себя во дворце по-барски и щедро плативший ему жалованье, запретил Морельену играть в чужих людях.

– И вы мой, и музыка ваша моя! – сказал ему князь, тотчас после пресловутого концерта.

Князь, конечно, ни слова не сказал тогда музыканту, что его самозванство раскрылось, и виду ему не подал, что взбешен.

«Черт с ним! Пускай ничего не знает и себя маркизом величает. Все в свое время. И ему отплата должка моего будет... А пока пушай его!»

Впрочем, князь был когда-то особенно взбешен – не на самого Шмитгофа, а на Брускова, не оправдавшего его доверия. Так как главный виновник был уже прощен и вернулся в столицу, то на самого виртуоза-самозванца сердиться теперь и подавно не приходилось.

Музыкант был представлен княжне Эмете как француз маркиз Морельен де ла Тур д'Овер, а не как «странный» проходимец неизвестной народности.

После первого же дебюта у персидской княжны музыкант увидел, что он произвел на красавицу Эмете сильное впечат-

ление своей музыкой.

На другой же день, еще в сумерки, княжна прислала своего двоюродного брата Гассана и переводчика Саида в Таврический дворец просить к себе Морельена. Музыкант не посмел отправиться самовольно, и пришлось доложить князю.

Тот же капитан Немцевич пошел с докладом в кабинет и затем разболтал во дворце то, что при этом ему случилось слышать.

Князь, по рассказу капитана, узнав, в чем дело, задумался и долго молчал. «Все причуды!» – вымолвил он будто про себя. «Бабий конь именуется: прихоть, каприз. На нем она с сотворения мира и едет... и валится с него наземь то и дело». Затем, помолчав еще немного, князь вымолвил, как бы обращаясь к капитану: «Влюбится, пожалуй. Ведь он играет божественно. Это надо ему честь отдать...» Князь замолчал, опять задумавшись, а капитан не посмел ничего сказать. «Как тут рассудить. А?» – вдруг спросил наконец князь уже прямо.

Однако, в конце концов, светлейший позволил Морельену ехать, обещаясь быть и сам – раньше обыкновенного.

Виртуоз был очень доволен разрешением. Княжна была так прелестна и так милостива с ним накануне, что ему даже во сне приснилась.

– Charmant enfant. Linda piccolina. Hiibsches Kind... Dear little... Pulcra mujer!..³¹ – болтал Морельен, надевая весело

³¹ Милая крошка (фр., ит., нем., англ., исп.).

новое платье – оранжевый камзол и ярко-лиловый шелковый кафтан... Долго провозился артист с буклями своего парика, чтобы придать им живописный беспорядок, а затем долго теребил накрахмаленное кружево на груди, чтобы рюшь и складочки гармонировали с прической.

– Проклятые прачки московитские... – ворчал он по-немецки себе под нос. – То ли дело у нас в Вильне и Варшаве. Варвары! Ничего здесь нет порядочного. Страна снегов, рабов, и больше ничего!

Наконец, раздевшись, раздушившись, уложив свою волшебную скрипку в ящик, Морельен вышел вместе с двумя персиянами, но вел не в их карету, а в свою.

Княжна приняла музыканта особенно милостиво и радостно. Она объяснила Морельену чрез Саида, что всю ночь не спала, потому что все чудились ей волшебные звуки.

Одета была Эмете очень просто, но очень элегантно. Светлое нежно-голубое бирюзовое платье без шитья, без золота или каких-либо украшений. Серый пепельный и легкий, как дымка, вуаль, пришпиленный к кудрявой белокурой головке, – составляли весь ее наряд. Ни единого кольца или какого-либо камушка не блестело на ней...

Но музыканту почему-то показалось, несмотря на простой наряд княжны, так сказать почудилось, что хозяйка занялась собой так же, как и он занимался собой пред выездом к ней.

Эмете была особенно красива.

Голубое бирюзовое платье шло к ней, к ее нежному, свет-

ленькому и свеженькому личику, к ее тоже бирюзовым глазам, к ее светлокудрой головке, а серый, цвета золы, вуаль, ниспадавший покровом, придавал что-то особенно чарующее всему лицу... Она казалась еще белее, нежнее, румянец на щеках пылал ярче, обнаженная шея и тело в маленьком вырезе на груди сквозили в этих пепельных волнах тонкого вуаля и казались еще белее за сероватой дымкой кисеи.

Началась музыка... На этот раз виртуоз остался случайно глаз на глаз с княжной. Саид, после первой же сыгранной пьесы, начал отчаянно зевать и испросился уйти. Гассана еще раньше вызвали. Опекун и духовник тоже выехали или уже спали.

Морельен играл и играл... Томный взгляд, милая улыбка, серьезная складочка прелестных алых губок красавицы – все воодушевляло виртуоза. Быть может, на этот раз – и он это чувствовал – он играл лучше, чем когда-либо. И наконец, окончив одну пьесу и взглянув на княжну, виртуоз увидел ее лицо в слезах...

Эмете заговорила тихо и с чувством, но по-своему и как бы себе самой, и Морельен не мог понять ее. Зато все, что говорили прекрасные глаза в слезах, смущенное оживленное лицо, – он хорошо понял. Он видел ясно и то, как Эмете донельзя сконфужена и устыдилась своих невольных слез, как если б они были совершенно неуместные. Яркий румянец стыда покрыл все лицо княжны, когда виртуоз пристально стал смотреть на нее, польщенный этими слезами.

– Не надо это... Но не могу! – произнесла отчетливо Эмете, к изумлению Морельена.

– Вы? По-русски? – произнес он.

– Да. Немного. Много нельзя...

И оба, равно с трудом выражаясь, начали говорить по-русски медленно и односложно. Слов то и дело не хватало ни тому, ни другому. Артист произносил тогда поневоле немецкое слово, княжна какое-нибудь свое, дико звучащее в ушах его. Они не могли понять друг друга, но затем, при помощи усиленной мимики и жестов, кончили тем, что понимали обоюдно то, что хотели сказать.

Морельен был очарован красотой, ласковостью и простым обхождением княжны. Она смотрела на него иногда так милостиво, что виртуоз начинал смущаться своими собственными помыслами.

Он не знал что подумать, как объяснить эту ласковость обхождения.

«Говорят, что действие музыки на диких, – подумалось ему, – неотразимое, волшебное. Уверяют, что музыка их, как и змей, может непостижимо очаровывать. А ведь эта княжна полудикая по происхождению и воспитанию. Она никогда, может быть, не слыхала у себя на родине никакого инструмента... Тогда понятно, что она должна перечувствовать в первый раз в жизни при такой игре, какова его...»

Княжна просила сыграть что-нибудь веселое, объяснив жестами... Морельен сыграл тирольский танец и привел ее

в иной восторг. Она оживилась...

Наконец появился снова Саид-Аль-Рашид, и при его помощи княжна объяснила Морельену то, что он думал сам, т. е. что она никогда такой музыки не слыхала, благодарит его и просит принять на память от нее подарок...

Она достала кольцо из шкатулки и подала ему: Морельен сначала отказывался, но по ее настоятельной просьбе взял кольцо, поцеловал его и надел на палец, говоря, что всю жизнь будет носить его.

Через несколько минут, хотя было довольно рано, персиянин-лакей доложил о приезде светлейшего.

Князь вошел в гостиную, поздоровался с княжной, кивнул головой виртуозу и глянул на обоих несколько странно, как показалось Морельену. Взгляд князя был и сумрачен, и насмешлив вместе.

Он тотчас отпустил музыканта домой, т. е. вежливо выгнал. Но взгляд Эмете, украдкой брошенный виртуозу вслед, был наградой... И Морельен вышел счастливый.

V

Столичный говор о княжне не умолкал. Особенно сильно заговорили о персиянке, когда какой-то банкир рассказал, что княжна громадные деньги положила у него на сохранение и что вообще она, кажется, свой миллион привезла с собою «чистоганом».

Кончилось тем, что петербургский полицмейстер Рылеев счел долгом доложить о приезде персиян и о миллионном чистогане самой государыне. Он подал бумагу, которая гласила, что присутствие персиян в столице «плодит толикие пустые разговоры, от коих подобает предостеречь многих легковверных людей, дабы они тем праздным словам веры не давали и родить пустые толки о миллионе посылно воздерживались, за что по законам, как за вредительное благочинию празднословие яко противники оному строжайше ответствовать могут».

Государыня за последнее время очень недолюбливала «государственных болтунов и пустословов», т. е. людей, сочинявших хотя бы и невинные, но высшего разбора сплетни, т. е. касавшиеся намерений правительства и «статских дел материй».

А то, что пустила теперь молва в Петербурге, была выдумка, касавшаяся «материи статских дел», т. е. имела и политический характер.

Слух о браке персидской княжны с князем Таврическим, ради создания нового государства из христианских и мусульманских племен, был отголоском политических деяний, фокусов и превращений того времени.

Государыня, к удивлению полицмейстера, на этот раз никакой меры к запрещению не указала, а только смеялась, что «Григорий Александрыч в зятя к шаху попал и кабардинским королем объявился».

Рылеев доложил, что он доподлинно узнал, что за княжна такая – эта приезжая. Он опасался, не шайка ли новая картежников и шулеров, подобно тем, что появлялись постоянно в столице с подложными видами, обдeldывали разных недорослей из дворян, а иногда и сановников, а затем исчезали... Оказалось, что персияне живут мирно и тихо, тратят действительно большие деньги, но документов никаких княжню и свитою не предъявлено «за неимением оных и небытием таковых в ее отечестве».

Полицмейстер прибавлял, что сама княжна Эмете Изфанова для себя только лично имеет документ, но приложила его к своему прошению на имя князя Григория Александровича и передала ему. А Баур сказывал, что это суцая правда.

– Так чего ж тебе еще! И оставь княжну в покое, коли Григорий Александрыч ее лично знает и видает. Ну, что в городе?..

Полицмейстер, как всегда, по обычаю за много лет, передал государыне все новости столицы – и крупные, и мелкие.

Откланиваясь, полицмейстер снова, однако, спросил на-
счет княжны. Следить ли за ней?

– Князь порукой за персидов!

VI

Скоро у персидской принцессы перебивали почти все. Само же праздное общество создало себе празднословием кумир.

Княжна принимала всех радушно и гостеприимно, кокетливо любезничала с молодежью, еще милее обходилась с пожилыми, очаровывая их тонким лестным смешением бойкого кокетства с почтительным отношением к их годам или отличиям.

– Перецарапала чуть не всех – персидский котенок! – решил один остряк генерал, таявший больше других перед кокеткой.

Сама княжна не ездила в гости ни к кому, но, несмотря на это, у нее в доме явились и барыни: одни исключительно ради добычи невесты-богачки сынкам, другие, даже и с дочерьми, вследствие одного снедавшего их любопытства. Наконец, третьи явились в «грузинском доме» сами не зная как и зачем... Другие туда едут, как же не заехать...

Наконец однажды княжна заявила, что у нее будет бал, и просила всех сделать ей честь пожаловать...

Начались толки, и пересуды, и колебания... Нашлись барыни, которые в толках о бале заявляли, что поедут только в том случае, если домоседка княжна явится к ним с визитом.

Но княжна по-прежнему не ехала ни к кому и не собира-

лась ехать.

– Гордячка какая! Скажи на милость! Кто ж это поедет к ней? – говорили барыни. – Еще там о царстве-то Каспийском пока враки одни. Она вот, того и гляди, не в царицы, а в скрипицы попадет, влюбившись в музыканта.

И многие барыни твердо решили не ехать на бал к «гордячке персидке». Но вдруг пробежала молва, что не только князь Таврический будет на бале в числе приглашенных, но все для бала княжны, из любезности, будет дано от него... Лакеи, музыканты, повара, цветы из оранжерей дворца... все будет от князя – даже знаменитый нарышкинский оркестр, оригинальный, единственный не только в России, но и в Европе... Это был хор роговой музыки из рожков разного калибра, изобретенный Нарышкиным и купленный у него князем. Каждый музыкант мог взять на своем рожке только одну ноту, но из них составлялись и исполнялись искусно самые мудреные пьесы и танцы.

Искус великий, и устоять против соблазна кто же может!

– Но почему же она с приезда не была ни у кого? Ведь не из гордости же одной... Ведь она как любезна – у себя. Никакой тени амбиции даже нет. Зачем же она не ездит в гости и не едет приглашать?

Вот вопросы, смущавшие многих.

– Однако если все едут, то и я поеду! – решал всякий. И набралась толпа, из отдельных мнений набралось общественное мнение.

Два дня особое оживление было заметно во дворе и в горницах «грузинского дома». Дом убирался к балу, и подводы с людьми из Таврического дворца запружали двор, и лакеи в ливреях князя Потемкина сновали в горницах.

Княжна Эмете не входила сама ни во что и даже не показывалась из своей маленькой гостиной – все устраивалось в зале и в больших парадных гостиных явившимися дворецкими и лакеями князя под руководством Баура.

Сама княжна хлопотала только о своем туалете при помощи двух горничных – своей персиянки Фатьмы и русской, присланной от князя. Она проработала два дня, собственноручно унизывая свой корсаж многотысячной парюрой из бриллиантов и жемчугов. Эту работу опасно было поручить кому-либо чужому. Тут было целое состояние.

Абдурахим, Дербент, Ибрагим и Гассан ни во что не вмешивались и только дикими очами следили за приготовлениями к балу.

Наконец, на третий день дом ярко осветился. Все окна засияли, освещая улицу, а на подъезде появившаяся в красной с золотом епанче, с громадной булавой известный Питеру швейцар-невшателец. И его дал князь на этот вечер.

Эмете еще одевалась, когда посланный от князя офицер Немцевич прибыл в «грузинский дом» и просил передать княжне от светлейшего на словах вопрос и попросил таковой же ответ.

«Не робеет ли княжна Изфаганова?»

Немцевич передал вопрос Бауру, этот передал его лакею, а лакей русской горничной, приставленной из дворца, которую вызвал из уборной. Горничная передала княжне словесный вопрос.

Княжна задумчиво улыбнулась при этом и велела передать князю:

– Робею шибко, но не за себя...

Скоро начался съезд, и «грузинский дом», роскошно убранный цветами, сиял в огнях. Хозяйка со свитой принимала гостей на пороге из большой гостиной в залу, где попеременно гремели уже два хора музыкантов, – то обыкновенный инструментальный, то роговой.

Княжна мило приветствовала всех. Персияне угрюмо и мрачно кланялись из-за нее гостям, как всегда немые и будто озлобленные.

Многие заметили, однако, что сама княжна как-то менее обыкновенного весела, будто немного озабочена чем-то и рассеянна.

В числе гостей явился и красавец граф Велемирский, так как ни один вечер или бал в городе – вообще какое бы то ни было празднество – не обходилось без него.

Теперь он явился без приглашения, и товарищи уговаривали его не ехать на бал.

Велемирский понимал, что дом, а потому и бал персиян такой особенный, что сюда можно ехать без зову. Явясь, он долго любезничал с княжной и заметил тоже озабоченность

красавицы. Глаза ее бродили рассеянно и беспокойно по зале.

Когда гостиная и зала уже были полны народом, внизу у подъезда послышался стук колес и вместе с тем топот коней и бряцание оружия...

Это был князь с своим конвоем.

Светлейший вскоре появился на парадной лестнице, сопровождаемый свитой адъютантов и офицеров всех родов оружия.

Он медленной, тяжелой походкой поднялся по ступеням...

Лицо его было особенно оживленно, весело и довольно.

– Молодец... Спасибо... – сказал он, проходя, Бауру, который его встретил один из первых. – Вишь как! Лучше, чем у меня было. А что наша княжна?..

– Слава Богу.

– И слава нам! Так ли? – усмехнулся князь весело...

– Слава вашей светлости, – отозвался Баур.

– И тебе, разбойник!

Княжна Эмете двинулась навстречу князю такая же озабоченная, но вдруг просияла. В свите князя глаза ее сразу нашли и увидели виртуоза маркиза...

Его отсутствие на бале смущало ее целый час! Но вот он тут... и она будто ожила.

Княжна, улыбаясь как-то особенно лукаво, низко присела пред князем...

Он взял Эмете за руку и долго держал ее, не выпуская, и заговорил, любезно наклоняясь...

Князь невольно любовался ею. Эмете была чрезвычайно авантажна.

Весь туалет ее был дымчатый опаковый с серебром из матово-белого шелка. На голове было нечто вроде легонькой шапочки, вышитой белым шелком, унизанной крупным жемчугом с серебряным шнуром... Стан был перехвачен тоже белым серебряным поясом. Кроме того, на шапочке, на груди и на руках блестели и искрились бриллианты... Ни одного самоцветного камня не надела Эмете на этот раз. Вся ее фигурка была с головы до пят серовато-белая, серебристая и блестящая ярким алмазным блеском... Только румянец на щеках был розовый, только прелестные глаза заменяли бирюзу, только губки напоминали рубины...

– Один у вас порок, – сказал князь, и лицо его стало чуть-чуть суровее... – Ваше сердце холодно, как лед... Такая холодность чувств прилична бы уроженке северных стран, а не Персии.

Княжна опять промолчала и только опустила глаза и стояла недвижно, будто ожидая, чтобы князь ее отпустил, освободил.

– Однако я вас удерживаю. Пора начинать танцы, – вымолвил быстро Потемкин, будто догадавшись.

Княжна двинулась в залу, он последовал за ней. Когда князь появился на пороге, грянула музыка и танцы начались.

VII

Едва князь очутился в толпе обступивших его льстецов и ухаживателей и удалился от дверей гостиной, как княжна ловким маневром очутилась в этих дверях и, найдя на пороге артиста, подала ему руку.

– Я очень пужалась, вы не приедет! – выговорила она быстро и взглянула на молодого человека такими глазами, что он невольно смутился...

Это не была только гостеприимная хозяйка, любезно бросающая фразу приветствия... В словах княжны была какая-то фамильярность и было даже чувство. Многие, стоявшие тут же, с любопытством прислушивались. Но княжна, казалось, не замечала никого или не обращала никакого внимания на толпу.

– Я наехал с князь, – отозвался артист на ее любезность, тоже ломаным русским языком.

– Да. Я увидел вас... И очень обрадовал. Послушай. Вы танцевать. Да. Конечно.

– Да-с... Но я не знаю... Я боялся, много ваш гость дам не хочет мне сделай честь...

– Маркиз Морельен делай честь для русский дам, а не дам для французский дворянин! – любезно отозвалась княжна.

Несколько человек фыркнули и отвернулись. Молодой человек промолчал и потупился пред княжной.

– Я приглашай вас сама второй менуэт. Послушай... согласна, маркиз?

– Но я невеста, княжна, – заговорил, смущаясь, артист... – Добже... Но я у князь Потемкин...

Артист не успел договорить. Около него появилась вдруг высокая фигура князя, и, оттеснив его, светлейший снова заговорил любезно с княжной... Все кругом видели, что княжна Эмете сразу будто разучилась по-русски, отвечала односложно, не то смущаясь, не то досадуя.

Раздалась ритуфель менуэта, и граф Велемирский подошел к княжне и поклонился.

Князь с изумлением взглянул на офицера. Он хорошо знал его и даже покровительствовал ему вследствие того, что тот был родственником мужа графини Браницкой.

Лицо князя омрачилось при виде этого офицера, известного в Петербурге волокиты. Он уже подавал руку княжне, чтобы вести ее на место...

Князь двинулся и тихо вымолвил голосом, в котором была строгость:

– Велемирский! На два слова...

Граф, заметивший выражение лица и голоса князя, несколько робко подошел к нему.

– Зачем ты здесь? Кто тебя пригласил?

– Никто, – совершенно смутившись, прошептал офицер, и лицо его пошло пятнами. – Я полагал...

И офицер смолк, не зная, что сказать...

– Ступай. Уезжай отсюда и нимало не медля... – строго выговорил князь.

– Но как же менюэт? Я пригласил...

– Пустое.

И князь прибавил громче, обращаясь к княжне, которая стояла в двух шагах и с совершенно изумленным лицом смотрела на князя:

– Княжна, вы извините графа. Ему надо домой ехать сию минуту... Ступай! – обернулся князь к офицеру.

Несмотря на то что эта сцена произошла быстро и князь говорил тихо и осторожно, но так как общее внимание было обращено на него, то иные все слышали, а другие видели и догадались...

Офицер почтительно, но с явным негодованием в лице вышел из залы и быстрой походкой взволнованного человека двинулся чрез ряд гостиных к лестнице.

Князь подошел к Эмете, все еще изумленной.

– Зачем вы прогнали графа? – вымолвила она беспокойно.

– Это нелюбопытно знать! – гневно сказал князь, подал ей руку и стал с ней среди пар, готовых начинать менюэт. В то же время взор его бродил в зале, отыскивая кого-то. Менюэт начался... Все глаза были обращены на танцующего князя. Все были изумлены... Нетанцующие осторожно перешептывались.

– Видели? Какова?

– Вот врезался-то.

– Каково! Прогнал...

– Это уж что-то по-турецки. Может, он этак на балах в Измаиле или Очакове после штурмов с пленницами привык танцевать. Кавалера вон, а сам на его место.

– Ну, жди, судари мои, чего диковинного в скором времени. Этакое так просто не сойдет.

Шепот и злоязычие длилось всю первую фигуру. Кончив фигуру, князь подозвал молодого кирасира, нетанцевавшего и которого он даже не знал по имени.

– Выручи, голубчик. Кончай за меня. Не за свое дело взялся. Стар... Простите, княжна... Вот вам кавалер.

Кирасир, довольный и польщенный, стал на место князя, а светлейший отошел в толпу глядевших на танцы.

Шепот прекратился, и ближайшие к князю обратились к нему с комплиментами.

– Где мне! Стар. Прежде умел не хуже нынешней молодежи.

Между тем на лестнице взбешенный граф Велемирский повстречал Баура, которого хорошо знал, и стал горячо жаловаться на поступок с ним князя.

– Здесь все незваные. Здесь ведь бывает всякий народ.

– Полно, граф. Не стоит горячиться. Уезжайте. Этак лучше. Право, – говорил Баур.

– Что ж он? В самом деле, что ли, разум от персидки потерял?

– Полно. Пустое.

– Да разве это не ревность?

– Ну вот еще... Поезжайте домой! – усмехнулся Баур. – Я и сам жалею, что вас не видал прежде князя, а то бы тоже не апробовал вашего приезда. Полно горячиться... Уезжайте. Ну, прогнал – эка важность. Завтра где отпляшете вволю.

И Баур, успокоив офицера, проводил его до лестницы и, вернувшись, пошел по гостиным поглядеть, все ли в порядке. Обойдя все гостиные, где прохаживались гости, он заглянул и в залу.

Князь стоял на пороге один, увидел любимца и подозвал его.

– А гляди-ка! Гляди! – мотнул он головой. – Говорили, мало будет народу. Не поедут... Небось!..

– Да-с. Много, – отозвался Баур. – Я даже, признаюсь, не ожидал такого многолюдства...

– Нет, а ты скажи, какова наша княжна! – вдруг воскликнул Потемкин. – Ведь просто алмаз. Ты посмотри, как красива в этом сереньком покрывале. Какое лицо... Какие глаза... Как танцует! Как принимает и любезничает со всеми. Как русские слова говорит, которые только вчера выучила. А?..

Князь весело расхохотался.

Бал все оживлялся. Всюду все нетанцующие тоже весело двигались и без умолку пересмеивались. Видно было, что помимо танцев было что-то оживлявшее толпу.

Было злорадство. Они приехали сюда, уступив любопыт-

ству и унизив немного свою гордость. Надо было отомстить злозязычьем и хозяйке, и ее патрону, этому гордецу.

А злорадствовать было отчего. Во время второго менюэта князь не спускал глаз с красавицы персиянки, и лицо его было угрюмо... И этого мало. Он не дождался не только конца бала, который сам устроил, но не дождался даже конца этого менюэта и уехал...

Какая была этому причина.

Толпа гостей поняла все... Князь был взбешен.

Этот второй менюэт княжна Эмете танцевала с проходимцем музыкантом, которого он же, по неразумию, привез с собой, вероятно, лишь в качестве зрителя. И вдруг музыкант оказался кавалером княжны. Но этого мало. Персиянка, по наивности и малому воспитанию, выдала себя с головой. Кто видел этот менюэт, видел ее танцующею с красивым артистом, тот ясно понял, что персидская принцесса ни больше, ни меньше, как без ума влюблена в музыканта.

И все гости видели это... И сам артист, казалось, был изумлен и смущен обхождением красавицы.

И светлейший Таврический, старый волокита, видно, хорошо все понял, потому что не выдержал и ускакал.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – говорили, смеясь, повсюду.

– Вот тебе и персидочка!.. Кого предпочла вельможе-временщику.

– Ай да Изфаганова! Молодец котеночек!

Гости, однако, начали разъезжаться и разъехались очень рано. Любопытство было удовлетворено. Двойной скандал с Велемирским и с музыкантом все видели. Хозяйку и князя за гостеприимство растерзали... Больше же делать было нечего. А все остальное было нелюбопытно.

В час ночи «грузинский дом» уже опустел.

VIII

После бала у княжны и ее поведения с маркизом не оставалось сомнения, что Эмете равнодушна к артисту. Не только сам Морельен-Шмитгоф должен был поневоле думать это, но даже в столице начались толки, что князю что-то не везет за последнее время. Проходимец нарядил его в шуты, сначала выдав себя за француза и заставив князя поверить, что он аристократ и эмигрант, а затем, отбив у него «предмет».

Все бывшие на бале видели, как «прелестный котеночек» недвусмысленно обращался с музыкантом и как угрюмый князь волновался, очевидно ревнуя.

Какая пропасть лежит между ним, могущественным вельможей, и безвестным скрипачом-проходимцем! Они оба стоят на двух крайних ступенях длинной и мудреной лестницы общественной иерархии... Один – превыше всех и всего, а другой – нищий, без роду и племени... А вот в деле получения пальмы первенства от женщины, в деле суда женского, искреннего и влюбчивого сердца – могущественный Потемкин проиграл и должен уступить красивому и талантливому артисту. Могуществу временщика есть предел – сердце красавицы, недоступное честолюбию.

Так толковали, ликуя, многочисленные враги князя и, всячески превознося княжну, заезжали к ней в гости, сидели до

сумерок, объясняясь отчасти чрез Саида, отчасти прямо с ней самой, так как с каждым днем Эмете начала все легче и лучше объясняться по-русски.

В столице знали теперь, что делалось в «грузинском доме», знали, что самозванец маркиз стал бывать почти ежедневно у красавицы Эмете, но тайно от князя.

Виртуоз не ограничивался днем и не ограничивался только игрой у княжны. Он бывал и вечером, засиживался поздно, а скрипка его оставалась иногда дома. Он просто проводил время в беседах с красавицей и уже всегда без помощи Саида, так как оба, и она, и он, усердно учились по-русски. Маркиз делал успехи огромные и, достав себе настоящего учителя, начал даже учиться читать и писать, чтобы скорее осилить российскую грамоту. Знание польского языка значительно облегчало учение. Что касается княжны, то она делала успехи поистине невероятные и уже почти свободно объяснялась с своим любезным.

Все шло быстро... с неимоверной быстротой, точно в арабской сказке. Недаром героиня была Адидже-Халиль-Эмете...

Не прошло десяти недель с бала у княжны, как и она, и виртуоз беседовали свободно по-русски, изъясняя друг другу далеко не двусмысленно взаимные чувства.

Красавица персиянка, вероятно вследствие простоты полученного бесхитростного воспитания, вела себя прямее, откровеннее и решительнее невских красавиц... Она намека-

ла, что свободна как ветер, независима как сирота, самостоятельна настолько, что одни лишь свои личные мечты для нее указ и закон, а богата настолько, что всякую мечту может привести в исполнение помимо всего и вопреки всем.

Маркиз, наоборот, будто переродился и из легкомысленного и веселого артиста стал осторожным, стал даже озабочен и задумчив.

Причина этой перемены была простая. Он был как бы испуган чрезмерным счастливым, невероятным поворотом колеса Фортуны. Давно ли он голодал и не имел полного приличного платья, чтобы идти играть где-либо на вечере за скудную плату. И вдруг он в Петербурге, в Таврическом дворце, сыт, обут, одет, с карманами, наполненными золотом, которого положительно девать некуда. А затем тотчас же колесо Фортуны поворачивается опять и опять... Он встречает красавицу девушку, знатную и богатую, сходится с ней... сначала принимает ее милостивое обращение за дань его таланту, но вдруг видит, что она его любит! Да, любит страстно! Но все это может внезапно и мгновенно рассеяться как дым, исчезнуть как сон в минуту пробуждения. А какая это ужасная минута, чтобы ее пережить! И что-то шептало артисту на ухо, не отдаваться поспешно и опрометчиво обманчивым сновидениям и мечтам...

– Она меня любит – нет сомнения, – думал и говорил артист, волнуясь, у себя в горнице. – Но кого она полюбила во мне?

И музыкант иногда с отчаянием на душе восклицал:

– Она любит все-таки маркиза Морельена де ла Тур д'Овер. И когда я упаду к ногам ее и признаюсь, исповедуюсь... Что будет?.. Что совершится?.. Да, я чувствую, что я этого не переживу; моя голова, мое сердце – не вынесут такого поворота колеса Фортуны. Иметь все и все потерять! Я с ума сойду. Я слишком глубоко и сильно чувствую. А все-таки надо, рано или поздно, сказать. А как ей признаться, что я бедный простой мещанин, без гроша, без роду, даже без родины, что я не знаю того, что знает последний холоп русский, не знаю, где я родился. Говорить ли это? Когда? Как...

И артист видел, что он никогда не решится на этот шаг, разве только, когда увидит ясно, что ей жить без него стало невозможно и невыносимо. А пока она только увлечена им. Сильно, искренно... Но все-таки это еще не пылкая, безумная страсть, которой нет преград.

IX

Легкомысленный, вечно веселый дотоле артист становился с каждым днем все сумрачнее, по мере того что прелестная княжна, очаровывая его, сердечно и наивно, хотя все-таки не прямо, а намеками, выказывала ему свое увлечение. Сначала в самозваном маркизе заговорила только алчность.

Его соблазнили средства княжны, ее обстановка, куча денег, которую она тратила на туалеты и на всякий вздор. Эта масса, наконец, бриллиантов и вещей, которая появлялась на ней... На бале все видели и ахали от ее жемчугов и бриллиантов, а между тем у нее было еще полдюжины всяких парюр из рубинов, изумрудов. Он даже видел целую коллекцию бирюзовых украшений с алмазами, от шпилек в голову и до пряжек на башмаки из такой пары бирюзы, которая одна стоила до тысячи рублей.

Этот блеск обстановки ослепил и привлек проходимца, как манит серенькую бабочку огонь, ярко сверкающий среди мрака темной ночи. Но около этого огня, помимо ослепительного блеска, есть и заманчивое тепло, которого, быть может, и ищет ночная бабочка, не ведающая лучей солнца. Этот проходимец, как одаренный от природы художник, у которого была все-таки чистая и чуткая к прекрасному душа, пылкое сердце, полное порою высоких стремлений и благородных порывов, скоро отнесся к любящему его суще-

ству совершенно иначе.

Он скоро перестал думать о самоцветных парюрах и бриллиантах знатной персиянки и видел в ней только девушку, прелестную лицом, чувствительную сердцем, остроумную в беседе.

Были минуты, и артист сознавался себе самому – и был горд этим сознанием – что если наутро он узнает, что персидская принцесса самозванка, или если окажется, что она разорена, нищая, без приюта... то он предложит ей разделить с ним его холодную горницу в Вильно, его необеспеченный кусок хлеба, добываемый мало кому нужным трудом... Потому что он любит ее... Да любит страстно – не за бриллианты ее... а за эти проникающие в сердце бирюзовые глазки, эту простодушную улыбку пухленьких пунцовых губок и грациозно мягкие движения котенка.

Вскоре и совершенно неожиданно для артиста произошло объяснение.

Он сидел, по обыкновению, у княжны, и было уже поздно. Эмете была скучна на этот раз и малоразговорчива и наконец, когда артист напомнил, что уже скоро полночь, и, встав, начал собираться домой, – красавица насмешливо и раздражительно вымолвила:

– Да, пора... Вообще пора... и мне пора домой.

Музыкант изумленно поглядел на нее, его удивил оттенок досады в голосе ее, а равно и слова, которых он не понял.

– Домой? вам? – вымолвил Шмитгоф, стоя пред ней.

– Да. Не вечно же я буду здесь в Петербурге. Дело мое, говорил вчера князь, чрез три дня будет решено – и я могу ехать к себе на родину.

Артист стоял как громом пораженный... Такое простое обстоятельство еще ни разу ему не приходило на ум.

– Что с вами? – спросила Эмете.

– Я не думал никогда об этом, – сознался он. – Мне не приходило на ум, что вы можете вдруг уехать и я никогда вас более не увижу.

– От вас зависит... – едва слышно произнесла Эмете и отвернулась от него как бы в досаде.

Наступило молчание...

– Но зачем вам ехать?.. – вымолвил он наконец. – Отчего не жить здесь? Ну, хоть до зимы... Вы свободны...

– Гассан не хочет. Он хочет скорее венчаться.

– Но вы сто раз говорили мне, – воскликнул вдруг артист горячо, – что вы его не любите и не пойдете за него!

– Да... Если найдется другой, который меня полюбит и которого я полюблю.

– И такого нет?.. – нерешительно произнес он.

– Которого я люблю? Есть. Но он... Я не знаю...

Наступило опять молчание... Княжна будто ждала и ожидала помощи, но артист, взволнованный, тяжело дышал и молчал, опустив глаза в пол.

– Я не знаю, любит ли меня тот, за которого я бы пошла? Он ни разу не сказал мне этого прямо. Почему? Бог его зна-

ет...

Артист упорно молчал. Эмете продолжала решительнее:

– Я могу думать, что он меня любит. Но он молчит. Вот... Вот и теперь молчит... Что же мне делать? Уезжать, конечно, и выходить замуж за Гассана...

– Он молчит, потому что он боится этого признания, – выговорил чрез силу Шмитгоф. – Он может признанием сразу все потерять...

– Я не понимаю...

– Скажите мне: кого вы любите?.. – произнес вдруг артист, наступая на сидящую Эмите как бы с угрозой.

– Кого? Зачем эта странная игра в слова. Вы знаете...

– Скажите мне имя человека, которого вы полюбили... Скажите мне его титул, его положение в обществе...

– Имя его простое, как и происхождение... А положение его самое скромное и самое блестящее вместе: он замечательный музыкант...

– Его имя?.. Его имя? – почти закричал артист. – Его имя для вас маркиз Морельен де ла Тур... Понимаете ли вы меня! – кричал молодой человек с отчаянием в голосе.

– Вы ошибаетесь, я люблю другого, а не маркиза Морельена, – серьезно говорила княжна, вскидывая опущенные глаза и глядя артисту прямо в лицо.

Он стоял пред ней как истукан, глядел на нее, но почти не видел от тревоги на сердце.

– Я люблю музыканта-скрипача, неведомого происхожде-

ния, которого имя Шмитгоф, – тихо проговорила княжна.

Молодой человек вскрикнул, бросился пред ней на колени и схватил ее за руки.

– Что вы сказали? Что вы сказали?

Она молчала и не двигалась. Он прильнул губами к ее рукам и, не произнося ни слова, целовал их.

Княжна снова заговорила первая и передала ему, что она на другой же день после бала узнала все. Ее гости рассказали и предупредили ее, кто он. А князь из ревности подтвердил тоже, что музыкант не француз, а безвестной национальности и не только не маркиз, но даже и не дворянин.

– И вы все-таки любите меня, зная правду... – воскликнул он. – И согласны быть моею, стать простой мещанкой?

– Мы и дворянство, и титул купим!.. Но чего нельзя купить ни за какие деньги, то у вас есть...

– Что?.. У меня ничего нет... – вскрикнул артист, все еще боясь рокового недоразумения...

– Молодость, красота и искусство! – нежно произнесла княжна, наклоняясь над ним...

Молодой человек, в порыве увлечения, обнял миниатюрный стан красавицы, привлек к себе ее лицо и хотел поцеловать.

Княжна быстро отшатнулась.

– Нет! Нет... Этого никогда... Пока я не буду вашей женой, я не могу позволить целовать себя... Это не обычай... у нас.

Он выпустил ее из рук и восторженно воскликнул:

– Моей женой! Скажите слово, и вы будете ею завтра. Сегодня... Сейчас...

– Да... Но наша свадьба – мудреное дело.

– Отчего?

– Мы в чужом краю... Здесь, в этом городе, есть могущественный человек, который может, если захочет, погубить нас обоих, уничтожить. Он всевластен столько же, сколько жесток.

– Князь?

– Конечно. Кто же?... Неужели вы не догадались? И неужели вы не знаете его? Он на все способен.

– Что же делать... Уезжать. Скорее... Или вместе, или врозь в разные стороны. И съехаться опять на границе, там, у Каспийского моря.

– Да. Но прежде всего мы должны все-таки здесь же обвенчаться по обряду вашей религии, так как ваших церквей нигде нет, кроме Петербурга, ни в России, ни в Персии. А по обряду моей веры меня мой духовник обвенчает беспрекословно всегда и везде.

И княжна объяснила Шмитгофу, что он не может ехать за ней, не будучи с ней обвенчан заранее.

– Ступайте к пастору и переговорите с ним. Но главное – тайна! Иначе мы наживем много хлопот с князем. Он упрямец и бессердечный человек...

Княжна долго и подробно объясняла, как надо поступить,

чтобы брак совершился втайне и обошелся без несчастья.

Перетолковав обо всем, заговорившись далеко за полночь, они наконец расстались.

Шмитгоф вышел от княжны опьянелый от счастья... Ему не верилось.

Вернувшись домой, он всю остальную ночь просидел, не раздеваясь и сумасшествуя... Два раза доставал он свою скрипку и начинал страстно целовать ее. И глаза его были влажны: в них стояли слезы упоения.

X

Княжна Эмете была права, говоря, что ее брак – дело мудреное.

На другой день Шмитгоф отправился к своему пастору и объяснил ему все дело. Старик священник, расспросив все, объявил, что постановления церкви не позволяют ему венчать магометанку с христианином и что княжна необходимо должна прежде креститься... Музыкант был поражен открытием, но понял, что священник прав. Когда он вернулся к княжне с ответом пастора, она призадумалась и была видимо поражена.

– Я не знаю, что делать! – произнесла она наконец. – Надо подумать...

– Надо креститься в мою веру, – сказал он робко и нерешительно.

– Никогда! – промолвила княжна.

– Другого исхода нет...

– Переходите в мою... – как вызов бросила она эти слова, упорно глядя в лицо его и будто говоря глазами: «Будешь ты способен на такую низость или нет?»

– Я вас люблю... Страстно... безумно... – начал молодой человек.

– Но веры для меня своей не покинете...

– Нет! – прошептал через силу артист, будто боясь этих

слов.

– За такие чувства я вас и полюбила! Да... Каждый из нас останется в своей религии... Поезжайте к вашему пастору и скажите, что за наше венчание он получит десять тысяч! Не согласится – обещайте двадцать и более. Другого средства нет.

Шмитгоф через час уже был снова у пастора, но не застал его дома... Вечером он опять отправился и тоже не застал, но заезжавший домой священник просил его через лакея приехать наутро.

Утром все уладилось... Деньги, т. е. целое состояние соблазнило, видно, старика. Он согласился венчать за двадцать пять тысяч, но с двумя условиями. Первое: уплата денег перед венчанием, и второе: обязательство соблюсти полную тайну со стороны венчающихся.

Последнее условие было не только выполнимое, но даже необходимое самим жениху с невестой из боязни мести князя.

Шмитгоф имел, однако, неосторожность рассказать тотчас пастору, насколько им самим нужна тайна из-за князя Потемкина, и старик, старожил Петербурга, призадумался...

– Может вместо вас достаться мне... когда вы будете далеко, вне его власти.

Шмитгоф понемногу уверил, однако, старика, что князь и не узнает, что он и Эмете были обвенчаны, так как они тотчас уедут в Персию.

Пастор смущался и колебался, но, однако, согласился окончательно.

И в то же утро Шмитгоф обрадовал невесту согласием священника... Она же объявила ему, что переговорила уже с Абдурахимом, который очень обрадовался ее сообщению, так как не любит Гассана.

На следующий день пастор неожиданно прислал за Шмитгофом, прося к себе по важному делу. Артист, чуя беду, покакал и с первых же слов старика пришел в отчаяние.

Пастор объяснил, что посвятил предыдущий день на распросы в городе, и, узнав много нового, отказывался наотрез. Ему рассказали все... Друзья из русских объяснили ему, что с князем шутить нельзя, хотя бы и иностранцу... А тем более и легче можно меня погубить, – прибавил пастор от себя, – что и деяние будет противное законам церкви. Если б княжна была христианкой, то он еще решился бы и в случае преследований со стороны Потемкина уехал бы на родину, где мог бы поселиться. Но совершать незаконное деяние в таких обстоятельствах немислимо.

– Меня отрешат, лишат сана и сошлют, – сказал он. – Если же она крестится, то я буду прав пред моим духовным начальством и могу жить на родине.

Шмитгоф вернулся к невесте и объявил ей новость... Княжна долго молчала, закрыв лицо руками.

Вечером, когда уезжавший Шмитгоф снова был у нее, она встретила его словами:

– Поезжайте завтра – скажите пастору, что я крещусь...

Перехожу в вашу веру...

Шмитгоф вскрикнул...

– Да. Я люблю вас, другого исхода нет. Но пусть все это будет в один день, зараз. Это мое условие неперемное. Я надеюсь, что теперь он может согласиться.

На другое утро Шмитгоф снова поехал к пастору и сиял от счастья, но приехал к княжне вне себя от отчаяния. Пастор все-таки наотрез отказывался.

– Отчего? – воскликнула княжна.

– Бойтся. Он опять собирал по городу всякие слухи. Все уверяли его, что князь настолько влюблен в вас, что в его гневе и мщении не будет предела жестокости... Пастор согласится только в том случае, если будет разрешение императрицы.

– Он безумный! Разве я могу? Разве это условие?... Через кого же мы будем просить царицу... Да наконец... Это невозможно...

И они просидели целый час в унынии.

– Вы согласились перейти в мою веру....– сказал наконец Шмитгоф. – Я делаю ту же уступку. Я перехожу в магометанство. Нам достаточно венчаться по обряду вашей веры у Абдурахима.

Княжна потрясла кудрявой головкой.

– Этим все препятствия устраняются, – сказал артист.

Княжна усмехнулась коварно и презрительно... Шмитго-

фа кольнуло.

– Христианин не может и не должен переходить в нашу веру... У меня на родине таких презирают. Все это вздор! А вот что не вздор. Вы завтра же поедете просить заступничества у единственного в Петербурге человека, который не побоится князя. К Зубову! Если он прикажет пастору, тот согласится.

Шмитгоф подпрыгнул от радости.

– Да! Да! Да!

Через два дня Шмитгоф рано утром был у Зубова.

Заявив лакею, что у него есть дело до господина Зубова, о котором ему уже говорено было, он велел доложить о себе.

– Как ваша фамилия? – спросил лакей и озадачил прибывшего.

Под каким же именем явиться к Зубову? Как назваться? Вот что озадачило артиста. Он является просить о деле, от которого зависит вся его жизнь. Уместно ли тут продолжать комедию самозванства? Тем более неуместно, если княжна знает давно правду... от самого князя, то, стало быть, весь Петербург знает правду. Потемкин, неизвестно зачем, продолжает играть роль обманутого и все зовет его – маркизом Морельеном. Но ведь Зубов и не слышал его настоящей фамилии и может отказать неизвестному лицу.

Молодой человек запнулся на минуту и велел наконец доложить...

– Приезжий из-за границы скрипач, живущий у князя Та-

врического.

Зубов удивился его появлению и, догадавшись, что это – пресловутый французский эмигрант, заинтересовался.

«Что такое? – подумал он. – Князь его прогнал! Хочет ко мне наниматься. Что ж. Только уж с уговором возьму – не под титулом маркиза».

И Зубов велел ввести скрипача.

Шмитгоф, смущаясь от предстоящего объяснения и просьбы, нетвердыми шагами вошел в кабинет. Но ласковость Зубова и добродушно-веселый, хотя отчасти насмешливый тон, с которым он принял музыканта, несколько ободрили его.

Он стал передавать дело подробно... Зубов не перебивал и слушал его с видимым любопытством. О княжне, ее красоте и состоянии он слышал много раз от друзей и знакомых. О том, что князь влюблен в персиянку, говорилось повсюду. Интересуясь всем, что касалось до Потемкина, Зубов давно подсылал своих доверенных в «грузинский дом» разузнать всю подноготную. Но они, конечно, попались в сети еще более. И в результате Зубов узнал об Эмете только то именно, что она пожелала. Выслушав теперь подробное объяснение музыканта, Зубов, видимо, был доволен.

– Я рад вам помочь. Всячески. Но что же я могу? – спросил тот музыканта.

Тот передал подробно свои переговоры с пастором и его боязнь мести князя.

– Только-то...

– Только... Но все в этом... Все наше несчастье. Если ваше превосходительство за нас скажете пастору одно слово, обещаете заступничество ваше – он не побоится.

– В таком случае поздравляю вас с вашей свадьбой... Обождите здесь в приемной. Я сейчас пошлю курьера за вашим пастором.

Шмитгоф вышел в соседнюю горницу и вскоре увидел, как курьер тройкой в дрожках проскакал к Невскому проспекту.

Пока артист дожидался, флигель-адъютант послал за своим братом, полковником Николаем Зубовым, и, смеясь, объяснил ему казус с Потемкиным.

Артист между тем радовался придуманному княжной средству выйти из затруднения и нетерпеливо глядел в окно.

Наконец появилась тройка в дрожках, и около курьера сидел пастор. Старика провели к Зубову.

Не скоро, однако, вызвал Зубов артиста, а когда позвал, то объявил ему, смеясь и показывая на пастора:

– Ну-с, господин Шмитгоф, дело уладится, если княжна согласится иметь в качестве свидетеля при крещении одного офицера, присутствие которого требует господин пастор ради своей безопасности. Стало быть, все зависит от княжны, ее согласия принять якобы в крестные этого офицера.

– Кого же?

– Господина Платона Зубова.

– Помилуйте... Это такая честь! – воскликнул артист, сияя от восторга.

– Ну вот, поезжайте и скажите княжне. И если она согласна – вы пришлите меня уведомить, когда будут ее крестины и ваше венчание. Я готов изображать и крестного и посаженного.

XI

Любезность Зубова разрубила гордиев узел, т. е. устраняла все затруднения.

Однако не все были счастливы и довольны.

Старик пастор тревожно думал и обдумывал все последствия.

Друзья напугали пастора, что он случайно попал между двух огней. Были случаи такой борьбы не раз и свежи в их памяти...

Пастор многое сам понимал и передумывал теперь и чувствовал, что у него все-таки кошки на сердце скребут. Сначала он хотел тайно и скрытно обвенчать влюбленную парочку и, получив крупную сумму, тотчас уехать подальше, а теперь, с этим сильным якобы покровителем, будет, пожалуй, беда и Зубову, и ему!..

Известие, привезенное княжне Шмитгофом, что, по настоянию робкого пастора, сам Зубов будет присутствовать при ее крещении и венчании, привело Эмете в восторг. Точно будто ей только этого и хотелось...

Она запрыгала как ребенок и захлопала в ладоши. Она не утерпела и тотчас выбежала к себе в спальню, где сидела и кроила платье ее горничная Параша.

– Зубов, Зубов будет! – воскликнула княжна. Параша вскочила с места.

– Где? Здесь?

– Нет. В церкви свидетелем...

Эмете объяснилась, и Параша тоже просияла.

– Пастора так напугали в городе князем, что без присутствия Зубова на свадьбе не соглашается венчать меня.

И, оставив радостную Парашу одну, княжна выбежала назад к жениху.

Горничная отпросилась выйти со двора у Фатьмы и через полчаса была уже на пути к Таврическому дворцу, где, по приходе, долго таинственно совещалась с братом-лакеем Дмитрием.

Отпуская сестру обратно, Дмитрий сказал шутя:

– Ну, прощай, Паранька. Скоро, стало быть, твоей службы конец. Князь слово сдержит. Выходит, тебя можно хоть сейчас уж и с лихим женихом, и со здоровым приданым поздравить.

В тот же вечер у князя был Баур, и между ними шло совещание.

Князь сидел задумчив, но с более ясным лицом и более веселый, нежели был за весь день.

– Еще он сказывал, что приличнее и желательнее было бы, если бы не в самом храме шум был. Говорит, зачем князь не хочет раньше помешать, еще на дому, когда он с женихом соберется...

– Зазнался! – кратко промолвил князь и прибавил: – Не его это дело. Зубов-то поедет прямо в храм, а не на дом.

Ну, его пустобрешества мне слушать нечего. Ты лучше подумай-ка вот да скажи: кого же?

– Я не знаю, отчего вы Немцевича бракуете? Он усердный.

– Толстая он индюшка! – отозвался князь. – Его только за рагат-лукумом в Москву гонять можно. За прошлый раз пробарабанил поясницей тысячу двести верст до Белокаменной и обратно, ну жиру с него и сняло малость. Бодрей стал. А где же его на этокое дело главным посылать?

– Меня, сказываю, пошлите командиром.

– Сказал – не хочу. Неподходящий ты. Да и зачем тебе Зубову идти в *bete noir*.³²

Баур помолчал и воскликнул:

– Брускова... Вот кого...

– И да, и нет... – отозвался князь. – А где он, шельма?

– Сидит у невесты. У Саблуковых. Да невесел, горюет, что ваше расположение потерял. И свадьба его не на радость.

– Не надуйвай. Спасибо еще, что из Шлюшина ради девочки выпустил. Ну, да вот что... Я его обещал совсем простить, коли мое дело выгорит... Возьми его опять и наряди тоже в поход. Но главнокомандующим и его нельзя... Робок и не сметлив. Тут нужен хват!

Наступило молчание.

– Стой! Готово! – вскрикнул князь. – Нашел: Велемирский!

– Да, это, пожалуй, лучше всего! – весело сказал Баур. –

³² пугало (фр.).

Хорошо надумали, Григорий Александрович. И вам преданный человек, и голова отчаянная. Лишь бы не пересолил только. Поранит кого! – рассмеялся Баур.

– Свиту княжны все равно надо по домам распускать.

На другой день граф Велемирский, вызванный к Потемкину, сидел у него и слушал объяснение предприятия князя относительно княжны Эмете.

Наконец Потемкин кончил и сказал:

– Ну, могу я на тебя положиться?

– Я так виноват перед вами, ваша светлость, – ответил граф, – за прошлый случай на бале, что готов хоть на луну лезть для вас... Вы поступили со мной как родной...

– Вот то-то, вы, молодежь. А небось как злился на меня, что я тебя отогнал от дамы и прогнал с бала. Только, чур, исполнишь ли ты указ мой? Никому ни слова, что знаешь.

– Свято исполню.

– Ну, ладно. А теперь я одного опасаюсь. Баур говорит, коли ты распалишься, то начудишь... Не убей кого в сумятице...

– Будьте спокойны. Зачем, – рассмеялся граф. – Это от них будет зависеть... От их строптивости.

Наконец однажды к Зубову явился в полдень переводчик княжны, Саид-Аль-Рашид, и, принятый им, объяснил ему своим диким русским языком, что завтра ввечеру, в восемь часов, известные ему лица поедут в церковь венчаться.

Зубов приказал двум офицерам к вечеру приготовиться,

чтобы сопровождать его в «некую забавную поездку» в качестве адъютантов.

Он не думал о церкви, крестинах и венчании княжны, хотя его интересовало видеть очень хорошенькую женщину, судя по единогласному отзыву всех, ее выдавших. Зубова занимала и забавляла иная мысль. Он воображал себе князя, получающего известие о браке княжны, о том, что она уже даже не невеста, а молодая жена... И чья же? Того же цыгана, жида или венгерца, который его уже раз одурачил на весь город, а теперь одурачит еще больше.

«Но хороша, однако, и княжна эта, – думал он, – выходящая замуж за безродного пройдоху скрипача. Сомнительная княжна... Может быть, тоже из цыган!»

Мысли о княжне, которую все признавали за красавицу и кокетку, привели молодого человека к мысли: «Не поехать ли к ней? Поглядеть, познакомиться».

«Ведь даже неловко ехать на свадьбу, ни разу не выдав ее!» – решил он.

А в это самое время, час в час, у князя, среди комнаты, стояло в сборе несколько человек офицеров, из коих трое в первый раз переступили порог частных апартаментов князя.

Все его ожидали.

Тут был, между прочим, и Брусков, довольный, счастливый, прощенный князем и принятый вновь на службу с условием отличиться в этот день. В чем – он не знал еще.

После всех явился граф Велемирский, веселый, сияющий,

и оглянул команду, которую ему поручал князь.

– Известно им? – спросил он Баура.

– Нет. Князь объяснит сам... А вы готовы?

– Готов... Вот что? Пистолеты брать с собой?

– Уж не знаю, – усмехнулся Баур. – Полагаю, что князь не позволит брать. Зачем?

Офицеры, услышав беседу, стали переглядываться и коситься на графа и Баура. Больше всех смутились Немцевич и Брусков. Новички еще могли желать отличиться ради князя и сразу выйти в люди, т. е. поступить во дворец на службу.

Брусков боялся вообще таких положений, где пускается в ход оружие, и сумел даже в войну на Дунае очутиться делопроизводителем в канцелярии.

Наконец появился князь, оглянул всех и вымолвил:

– Ну, судари молодцы, услужите мне. Награжу всякого тем, что попросит. В чем дело – не ваше дело! Что прикажет вот граф. Он – ваш командир, и вы должны ему завтра повиноваться как бы на войне. Скажу только – вам придется отбить женщину у ее охраны, но не бить никого.

XII

Зубов свой визит в «грузинский дом» долго помнил потом... Когда княжне доложили о его приезде, она отвечала вопросом, т. е. велела спросить господина Зубова, зачем он пожаловал.

Зубов, ожидая, что княжна его примет с восторгом, был неприятно озадачен и даже изумлен.

– Доложи княжне, – сказал он, – что я желал с ней заранее познакомиться ввиду того дела, которое она знает...

Княжна приказала просить.

Когда Эмете вышла к гостю, он был приятно поражен и мысленно отдал ей дань восхищения.

«Действительно прелестный котенок!» – подумал он словами всей столицы.

– Благодарю вас за честь... – заговорила княжна, прося гостя садиться... – Но очень сожалею, что вы ко мне пожаловали.

– Я вас не понимаю, княжна, – сказал Зубов, изумляясь и поневоле смеясь этой наивной манере принимать. – Объяснитесь.

– Объясниться вполне ясно я не могу... Но скажите мне вы... Зачем вы приехали сюда?..

Зубов объяснил, удивляясь, что ввиду ее просьбы быть свидетелем при ее свадьбе и заступником против преследо-

ваний ее угнетателя он пожелал с ней познакомиться. Княжна отвечала, что она никогда не просила жениха ходатайствовать об этом, не желая навлекать на господина Зубова – срам и позор.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что моя свадьба будет самый ужасный соблазн, скоморошество... по милости князя. И вы, будучи свидетелем, попадете в смешное положение.

– Почему же, княжна? Вы думаете, что князь что-либо предпримет, не допустит вас обвенчаться?

– Я боюсь... Почти уверена в этом заранее! – воскликнула Эмете.

– Но я за вас заступлюсь! За этим я и буду... Я был очень рад, что Шмитгоф меня пригласил, а пастор поставил даже условием мое присутствие...

– Я вас прошу, глаз на глаз, господин Зубов, не быть на этой свадьбе... Я не хочу, чтобы над вами смеялись потом.

Говоря это, княжна глядела пристально в лицо Зубова своими прелестными зелеными глазками, и какая-то странная тревога, помимо ее воли, сказывалась в чертах ее лица и во взгляде. Она будто боялась его ответа, его решения.

Зубов молчал и не знал, что ответить... Его умолял жених согласиться... Он был рад случаю досадить князю. А теперь невеста просит его бросить все... Конечно, надо опять согласиться, т. е. бросить затею.

– Извольте, княжна... Не могу же я насильно предлагать

вам свою помощь.

– Ну, вот и отлично! – громко воскликнула Эмете с неестественной, будто сыгранной веселостью и тотчас прибавила: – Да и где же бороться с князем?..

– Ну это... Это позвольте, княжна... Позвольте не согласиться.

– Вы воображаете, например, что если вы явитесь чьим-либо свидетелем или покровителем, то князь не посмеет ничего сделать.

– Ему будет труднее... Он не решится... Я уверен, что если бы он что-либо затевал против вас, то после вашего венца, при котором я был бы в качестве посаженного, – он ничего не сделает.

– Ах, вы ничего не понимаете... Вы малый младенец! – воскликнула Эмете.

Зубов слегка обиделся, как всякий молодой человек, когда ему женщина бросает в лицо его молодость в виде упрека.

– Князь вас с лица земли стереть может! В шуты нарядить! И я не хочу, слышите ли вы, этого. Я не хочу, чтобы это было из-за меня... Вы меня потом возненавидите, а я этого не желаю...

Княжна говорила горячо и не смотрела почти на гостя, но все-таки хорошо видела действие ее слов.

– Позвольте же, княжна, мне доказать вам на деле, что вы ошибаетесь... Во всем ошибаетесь... Вы преувеличиваете-

те могущество князя и уничтожаете мое положение...

– Как? Вы все-таки будете? – воскликнула Эмете. – Ну, так я вам говорю... что вы не посмеете быть... А если решитесь быть... то будете уничтожены князем...

Зубов досадливо рассмеялся.

– Буду и докажу вам, что вы ошибались...

– Я молчу... Я свое сказала. Все сказала... Мне вас жаль... Очень жаль... Вы себя губите... – И княжна покачала головой, усмехаясь, прибавила:– Вам с князем тягаться!! Вам...

Зубов встал и уже несколько раздражительно, смеясь, выговорил:

– Вот увидим. До свидания...

Зубов протянул руку.

– Еще одумаетесь... – шепнула лукаво и насмешливо княжна, тоже подавая руку.

Зубов нагнулся, очевидно, с целью поцеловать ее. Эмете быстро отдернула руку.

– Княжна... Поцеловать руку у нас не считается оскорблением для хорошенькой женщины.

– Нет. Я не хочу...

– Ну, я прошу, настаиваю...

– Никогда!

– Ну, хотя бы за все те неприятные, оскорбительные слова, которые вы мне наговорили сейчас.

– Ни за что!

– Я вас умоляю...

– Ни за что! Никогда! Хоть убейте...

– Я вас умоляю, княжна. Я не уйду без этого! – вдруг заупрямился Зубов, как баловень столицы.

Эмете была первая женщина, которая не оказалась счастливой от такого знака внимания с его стороны.

Наступило молчание. Зубов стоял, протянув руку, и видно было по его лицу, что он не уступит.

– Я не уйду... Не уйду! Хоть до вечера... – шепнул он, глядя в прелестное личико княжны.

– Но я не могу допустить этого... У нас это не в обычае... Поймите...

– Вы в России, а не в Персии...

– Что ж из этого?..

– Мы одни... Никто не увидит, не узнает.

Княжна молчала, стояла опустив глаза и сильно смущенная. Даже лицо ее зарумянилось сильнее.

– Оставьте это... Прощайте! – вымолвила она наконец.

– Повторяю десятый раз: ни за что! Вы упрямы. Я тоже.

Княжна двинулась в сторону. Зубов догадался и заступил ей дорогу. Она очутилась между ним и диванчиком, как в западне.

– Послушайте, если так... – заговорила она.

– То я буду кричать и звать моих к себе на помощь, – прибавил Зубов, смеясь.

– Нет... Если вы так упрямы, то я уступаю! Уступаю наси-

лию... Но руку я вам все-таки не дам. Это не обычай у нас...
Целуйте меня!

– Вас?! – воскликнул Зубов.

– Да, целуйте меня... Это возможно... Тут ничего особенного не будет... А руку я не могу. Ну... Изволь-те-с!..

И княжна, став вполоборота, подставила свою щеку. Зубов смутился в свой черед от неожиданности, но был слишком светский человек и слишком шалун в юности, чтобы терять время и раздумывать...

Он нагнулся и крепко поцеловал румяную щечку княжны.

В ту же секунду она юркнула мимо него и убежала из гостиной.

Зубов постоял мгновение один среди горницы, как бы приходя в себя от неожиданной, странной сцены. Потом он рассмеялся и двинулся уезжать.

«Вот уж не ожидал! – думал он. – Не хотела принимать! Наговорила с три короба дерзостей! Не дала руки и подставила личико!.. Однако понятно, почему Питер от нее в восхищении. Замечательный зверек!.. Прелестный котенок!..»

XIII

Наступил день и время, назначенное для тайного венчания.

К вечеру тревога пастора усилилась и перешла в лихорадочное волнение, так как за час до назначенного времени старика поразило странное обстоятельство. Около храма появилось много всякого народу и плотная толпа зевак все росла.

Княжна Эмете, по словам Шмитгофа, никому не хотела говорить о своей свадьбе... Стало быть, Зубов неосторожно рассказал, что поедет на венчание и крестины персидской княжны.

Так или иначе, но старик пастор, выглядывая из окна своей квартиры, был изумлен и встревожен.

Толпа любопытных все увеличивалась и скоро дошла от десятков до сотен. Посланный причетник, потолкавшись в народе, вернулся и доложил пастору, что все эти люди знают, зачем собрались: всем известно, что будет бракосочетание персидской принцессы. Только многие простые люди путают и думают, что сам князь будет венчаться, так как их всех княжеские дворовые люди прогнали сюда глядеть... И сами пришли.

– Как, люди Потемкина?..

Причетник объяснил подробнее, что в числе прочих зевак

в толпе оказывается много народу из Таврического дворца, люди князя и их приятели, люди других господ... И все они говорят, что их сейчас только негаданно прислали глядеть на свадебный поезд княжны... Поэтому некоторые из них полагают, что не сам ли князь венчаться будет.

«Что же это такое? – подумал смущенный пастор, – если даже людям Потемкина известна тайна княжны... Что же князь? Покорился участи? Отказался от княжны?»

Однако через полчаса пастор уже в облачении поджидал врачующихся среди освещенной церкви. Что ж было не освещаться и соблюдать тайну, когда ее разделяют сотни зевак, сошедших со всего города.

Но и этого мало. За десять минут до назначенного часа против церкви появились кареты, коляски, экипажи и всадники-гвардейцы... Все это съехалось глядеть свадебный поезд княжны Изфагановой, весть о замужестве и венчании которой молнией пролетела по гостиным не далее как за час перед тем. Некоторые барыни не успели одеться как подобало случаю и поэтому решили ехать поглазеть хоть из кареты на один поезд.

Многие, однако, выходили из экипажей и вступали в церковь, за ними простой народ, кто посмелее, пробирались в «кирку», опросив наперед соседей:

– А как там, тоись, насчет шапки...

– Вестимо без шапок. Тоже храм. И образа, и всякое такое...

– Нет, вы, ребята, – заметил в толпе только один солдат-инвалид, – так подтвердительно не надейтесь... Я этак-то вот, в плену будучи, зашел в басурманов храм да как шапку-то снял – мне в шею и наклали да и вытурили вон. Говорят, нагрешил! Все сами-то в шапках стоят.

В той же толпе весело болтали и лукаво ухмылялись люди Потемкина и все поглядывали в два места, то на угол Итальянской, то на противоположную сторону, где был дом графа Велемирского, наискосок от церкви.

Глухой и темный слух ходил утром между ними, что графу, по случаю свадьбы княжны, поручено что-то диковинное. Чудодей князь что-то затеял!.. И теперь их офицеры тут у графа, гостями.

Наконец шум и говор прошел по толпе. Вдали показалась желтая берлииа, а за ней двое конных – это был Зубов.

Зубов подъехал, вышел и, входя в церковь, был, видимо, удивлен, как и пастор. Не предполагал он быть на свадьбе при таком стечении народа. Он недоумевал. Музыкант умолял его о соблюдении тайны, и поэтому он никому, кроме братьев и двух близких друзей, ни слова не сказал... Ему даже хотелось свое участие в свадьбе сделать сюрпризом. Кто же разболтал? Даже в обществе известно... Кареты!

Зубов прошел в церковь в сопровождении двух офицеров и, встреченный пастором, тихо заговорил с ним. Пастор – это видели наполнявшие церковь – пожимал плечами и ежился как от холода... Расспросы Зубова еще более встревожили

старика.

На улице в эту минуту оживились, прошел гул... Вдали показались голубая карета цугом, а за ней несколько открытых экипажей, из которых торчали и остроконечные мерлушечьи колпаки персиян.

– Свадебный поезд!

– Гляди-ко! По-басурмански! Не обвенчаны, а уж вместе.

– Вместе в храм едут. Жених с невестой. Вот, братцы, коллено-то!

– Это по-персидски.

– Должно, из церкви зато врозь поедут, в разные стороны! – крикнул кто-то громко, и дружный хохот был ответом на шутку.

– Невеста-то какая... С наперсточек...

– Тише, что вы по ногам ходите! – с достоинством произнес чиновник соседу.

– Ах, родимые мои, – ахнула женщина в платке, – никак, ей всего годов девять...

– Жених-то, братцы, тоже персид аль иной какой?..

– Эй, любезный, ты чего это лезешь на меня! – провизжала здоровенная барыня на мастерового. – Что я тебе – лавка, что ль, аль забор?

– А ведь невеста, ваше превосходительство, действительно из себя прелестница.

– Да, субтильна!.. Да...

Карета с невестой и женихом подъехала к церкви; три ла-

кея, соскочив с запяток, отворили дверцы.

Жених изумленными глазами, как бы потерявшись, оглядывал густую толпу.

Княжна, наоборот, казалось, совсем не была удивлена и, весело улыбаясь и оглядываясь по сторонам, выпорхнула из кареты.

Одежда ее ослепила ближайших.

– Батюшки-светы... Бриллиантов-то!.. А-я-яй... Я-яй! – завыл кто-то даже жалобно.

Толпа во все глаза, не сморгнув, глядела на голубую карету и на жениха с невестой, но вдруг сразу все обернулись назад к ним спиной.

– Дорогу! Расступись! – крикнул повелительный голос сзади. – Живо! Задавим!..

Пять человек офицеров и с десятков солдат верхами будто выросли из земли и, налезая, рвались чрез толпу к карете.

В один миг толпа расступилась на две стенки и всадники достигли панели, где еще стояла, оправляя платье, невеста.

Персияне, выйдя из экипажей, подходили гурьбой к ней с Гассаном впереди. Но командовавший офицер соскочил с коня и, бросив повода другому, быстро подошел к княжне.

– Позвольте просить вас обратно садиться в карету, – сказал он вежливо. – По приказанию светлейшего, я вас должен немедленно доставить в Таврический дворец.

Говоривший был граф Велемирский.

Княжна стояла не двигаясь и глядела на графа и на свою

свиту, ожидая чего-то...

– По какому праву! Что вы, господин офицер... – робко воскликнул Шмитгоф. – Это незаконно... Мы чужеземцы...

– Молчать! – уже крикнул Велемирский на артиста и тотчас обернулся снова к невесте. – Извольте садиться в карету, или я велю людям спешиться и арестую всех.

– Я не дам!.. – крикнул Шмитгоф. – Здесь господин Зубов... Здесь, в церкви...

Граф, видя, что княжна стоит не двигаясь, обнажил саблю. Персияне сразу загалдели, но на их лицах было только изумление и тревога.

– Княжна, пожалуйста!

Он отстранил Шмитгофа, подал руку Эмете, и, при всеобщем молчании и изумлении плотной толпы, княжна так же легко и грациозно вспорхнула обратно в карету, как выпорхнула из нее за минуту назад.

Граф захлопнул дверцу.

– Вы на место! – приказал он лакеям, и трое ливрейных живо бросились на запятки.

Карета тронулась, а за ней вплотную поскакала конвоем команда графа. Только один Брусков остался у панели, держа под уздцы лошадь графа.

– Что это? Это насилие! – крикнул Шмитгоф своему бывшему другу Брускову, которого вдруг увидел. – Скажите, что это такое?

Брусков сидел на лошади, как истукан, и не ответил ни

слова.

Персияне между тем снова галдели. Гассан горячился.

Граф Велемирский, обратись к ним, толково и медленно разъяснил, что им следует покориться распоряжению начальства, которое знает, что делает.

– Поэтому, господа, садитесь спокойно в свои экипажи и отправляйтесь обратно домой! – закончил он речь. – А что значит арест княжны – вы узнаете после. Понятно?

Дербент плюнул и пошел садиться в свою коляску.

Граф, усмехаясь, собирался сесть на лошадь, когда незнакомый офицер приблизился к нему и вымолвил:

– Господин Zubov, флигель-адъютант ее величества, приказал вас, господин офицер, просить войти в церковь для дачи объяснений всего происшедшего.

– А разве Платон Александрович в церкви? – спросил Велемирский, весело усмехаясь.

И на утвердительный ответ он быстро двинулся на паперть.

Zubov встретил офицера почти в дверях, за ним стояли: бледный как полотно Шмитгоф и не менее встревоженный пастор.

– Что все это означает? – гневно спросил Zubov.

Граф объяснился.

– Но какое основание может иметь князь арестовать персидскую княжну в минуту ее венчания? Это смахивает на простое похищение женщины!

– Не могу и не должен знать-с. Бумаги и дела княжны у князя. Я исполняю только приказание светлейшего, – отвечал Велемирский почтительно.

Зубов вышел на улицу.

Шмитгоф как потерянный, почти, казалось, без сознания всего окружающего, последовал за ним... И чуть-чуть, по рассеянности и убитости, не сел артист в коляску Зубова.

Персияне уже уехали, и он был один.

Народ глядел на уезжавших по очереди в глубоком молчании. Власти разыгрались – держи язык за зубами. А то не ровен час сболтнется – и живо причастным к делу окажешься.

Но когда Зубов отъехал, а граф Велемирский и Брусков тоже ускакали, толпа шелохнулась и, расходясь во все стороны, загудела, весело перемешивая речь смехом и прибаутками.

Два имени – Потемкин и Зубов были у всех на языке.

И народ сразу рассудил дело иначе, чем сами участники происшествия. Офицеры, бравшие княжну как бы под арест, верили, что увозят женщину. А народ решил по-своему.

– Нешто станет он для такого дела силком девку во дворец волочить – чего ему в персидке этой! Невидаль какая!

– А энтот, вишь, ее с немцем венчать хотел. А князю тот немец самый нагадил... Князь его и поучит...

– Вестимо. А то – для себя, вишь, будет!

– Ну вот из-под носу невесту теперь взял да за другого, гляди, и просватает.

– А что, ребята... Я что видел! – говорил глуповатый молодой парень.

– Что?

– Персидка-то эта самая? Как ее сгребли да повезли... Чудно!..

– Да ну, что?

– Сидит да смеется. Ей-Богу! Ей бы плакать, а она смеется...

– Чего ж ей плакать-то?..

– Я ж почему знаю...

XIV

Экипаж княжны Изфагановой, в сопровождении конвоя из офицеров и солдат, немало дивил всех встречных...

Прохожие ожидали увидеть в карете мощную фигуру князя, а вместо него оттуда выглядывала миниатюрная женская фигурка, хорошенькая, богато одетая и весело улыбающаяся.

Наконец карета въехала во двор Таврического дворца... Княжна при помощи лакеев выпрыгнула на подъезд и быстро вошла в швейцарскую.

– Доложить прикажете? – несколько недоумевая, спросил швейцар-невшателец, узнавший княжну, но дивившийся конвоею ее...

– Не знаю, – нерешительно отозвалась княжна. – Я думаю!..

Но прискакавший с нею капитан Немцевич уже бежал докладывать...

Другой офицер, Брусков, тоже слез с лошади и, спокойно войдя в швейцарскую вслед за княжной, вдруг, как бы волшебством, превратился в истукана. Он стоял невдалеке от княжны и глядел на нее разинув рот, широко тараща глаза, очевидно, находясь под мгновенным влиянием столбняка.

«Княжна Изфаганова?» – повторял он мысленно, и он вдруг подумал, искренно испугавшись:

«Батюшки, уж не я ли спятил?»

– Что, какова? И вас поразило? Дивная красавица, – шепнул ему на ухо чиновник Петушков, прибежавший из канцелярии поглазеть на княжну.

– Да-а... – промычал Брусков бессознательно.

– Вы в первый раз ее видите?..

– Я... Да-а... Я... Ой, не спятил ли я? – громко проговорил Брусков.

Княжна, озиравшаяся кругом, услышала эти слова и увидела взгляд Брускова, прикованный к ней, и, усмехнувшись, повернулась к нему спиной.

– Князь просит пожаловать! – почти крикнул Немцевич, спускаясь рысью по лестнице.

Княжна поднялась быстрой походкой, прошла весь дворец, все парадные комнаты и большую залу, уже окутанные мерцающими сумерками летней белой ночи.

Князь распахнул дверь из кабинета и ждал; завидя идущую, он, еще издали, протянул к ней руки.

– Ну... – вскрикнул он. – Иди, княжна моя неоцененная!

И, когда княжна была уже около него, он нагнулся, обхватил ее могучими руками и поднял на воздух как перышко...

– Целуй меня... Вот так!.. – с чувством сказал он, целуясь. – Еще раз... Вот так... Чем поквиताюсь – не знаю...

И, поставив ее на пол, слегка смущенную и румяную от волнения, князь потянул ее за руку, ведя в кабинет.

– Садись. Рассказывай все... Ничего не забудь! Все... Ра-

ненных нет?

– Нет!

– Аминь и Богу слава! Ну, ну, рассказывай!..

Княжна начала быстро рассказывать. Между тем у церкви происходило иное.

Через полчаса после происшествия, когда улица давно опустела и пастор, довольный отчасти, что все так разрешилось мимо него, выходил из темной церкви, причетник тушил свечи, на ступенях паперти ему попала на глаза в полумраке сидящая фигура в блестящем костюме...

Пастор подошел ближе, пригляделся и ахнул. Это был несчастный жених.

Шмитгоф сидел на ступени, очевидно уже давно, положив голову на руки и закрыв лицо ладонями.

Пастор позвал его... Он не двинулся и не ответил.

Старик заговорил с участием и наконец тронул молодого человека рукой за плечо. Артист наполовину очнулся и поднял голову.

– Что же это вы... Так! здесь?.. Идите! Уезжайте домой.

Артист смотрел в лицо пастора и молчал.

Лицо его, даже в сумраке вечера, сверкало белизной.

– Как вы бледны! – воскликнул участливо старик. – Идите.

Войдите хоть ко мне пока...

Шмитгоф поднялся с трудом, как бы наполовину сознательно, и молча двинулся, пошатываясь, за пастором. Старик что-то говорил, но он не слушал.

Они вошли в квартиру.

– Утешьтесь. Авось все обойдется еще счастливо, – заговорил пастор. – Господин Зубов очень возмущен этим делом. Посмотрите. Он ответит, то есть князь. Есть же предел наконец, хотя бы и могущественным людям! Это соблазн! Ему прикажут возвратить вам вашу невесту.

– Возвратить! – воскликнул вдруг артист и зарыдал. – Возвратить!.. Опозоренную!

Старик вздохнул и, стоя против сидящего и рыдающего молодого человека, ни слова не ответил...

– Она погибла! Погибла! – восклицал молодой человек и взглядом как бы умолял пастора о противоречии.

Но старик, понурившись, молчал.

В тот же вечер рассказ о «неистовом деянии» князя облетел город.

Многие лица, ездившие смотреть свадьбу, были тоже очевидцами насилия над чужеземкой.

– Как? Нашлась девушка, которая не сдалась добровольно, уже постаревшему, бабьему угоднику, так он норовит силой взять! – восклицали одни.

– Да еще действует не сам, позорит военное звание, посылая на такое дело офицеров! – прибавляли другие.

– И находятся же такие низкие люди, которые согласны идти на всякое дело! – рассуждали третьи.

– Зубов должен не уступать... Помимо доброго дела, ему же пуще всех тут неприятность. Он должен спасти девочку

от чудодея и ради ее самое, и ради своей амбиции.

Зубов, по дороге домой, после происшествия был несколько смущен той ролью, которую он разыграл. Ему хотелось подшутить, обвенчав княжну с другим! А вышло, что он сам попал в смешное положение! Но мог ли он думать, что князь решится на такой грубый поступок! Среди бела дня... На глазах всех.

Но когда он рассказал домашним происшествие, то отец его и братья отнеслись к делу совершенно иначе. Самый умный из них, Валерьян Зубов, решил, что дело – отличное. Лучше не надо...

– Это начало конца! – воскликнул он. – Шабаш! Дальше нельзя. Дальше его прихотничество и самовольничание идти не могут. Посмотри, что на персидской княжне – оборвется...

И Зубовы уверили брата, что непременно строго взглянут на этот поступок.

– Ты знаешь, – говорил Валерьян Зубов, – всё прощают милостиво. Одного не любят и не прощают – зловредные женщинам козни наших сердцеедов.

– Жениться на ней велют! Вот что!..

– Это только не наказанием ему будет. Он в нее как мальчишка врезался!

Братья посоветовались и решили, не предпринимая ничего, ждать. Полицеймейстер должен был донести о таком крупном соблазне в столице.

Рылеев доложил наутро все подробности происшествия около кирки.

Тотчас приказано было просить князя.

Князь прислал Баура объяснить, что он очень болен, в постели, и, извиняясь, обещается через два дня явиться непременно.

Баур отвез затем письменный ответ князя.

Государыня прочла записку в несколько строк, пожала плечами и задумалась. Она думала:

«Ну как же не ошибиться простакам, да и умным на его счет? Кто же поверит, что в этой голове могут рядом зреть и уместаться: планы и предначертания самых громадных предприятий – и самые пустые и смехотворные прихоти и затеи... Высшая политика – и скоморошество, военные подвиги – и домашние шутки, дипломатические интриги – и похождения...»

XV

Князь, похитив «персидку», хворал для всех, т. е. никого не принимал.

Он был не только здоров и бодр, но веселее чем когда... Он играл и доигрывал партию в той игре, что сам затеял.

Баур, граф Велемирский, Немцевич, Брусков, лакей Дмитрий и его сестра, даже дворянин Саблуков, даже персианин Амалат-Гассан и еще многие другие действующие лица – бывали у него, уезжали и исчезали, являлись вновь... Только княжны не было видно, и никто о ней не говорил, по видимому, и не думал. И где была она, никто, кроме разве Дмитрия с сестрой, не знали. Только раз, однажды утром, капитан Немцевич, из желания подольститься к князю, осведомился нежно о здоровье княжны.

– Как, ваша светлость, оне себя изволят чувствовать? Все ли в добром здоровья?

– Кто? – спросил князь наивным голосом.

– Княжна тоись...

– Какая княжна?

– Княжна Изфаганова-с... – оробел Немцевич.

– Какая Изфаганова?

Немцевича душа машинально ушла в пятки, и он не отвечал.

– Отвечай, коли спрашивают! Чего рот разинул. Ну? Я у

тебя спрашиваю, какая такая княжна Изфаганова? Откуда ты такую выудил?

– Не могу знать-с... – пролепетал Немцевич.

– Не можешь. То-то... Пошел...

И капитан не ушел, а выкатился шариком.

Наконец, на второй день вечером, когда князь сидел полулежа на софе, с книгой в руках, явился Брусков с докладом.

– Ну, что ж? прощать совсем придется тебя? – весело спросил князь, и не только губы, но и глаза его смеялись.

– Придется, ваша светлость.

– Справил, стало быть, как след?

– Справил отменно. Шесть часов бился с ним. Уговорил-таки просить, умолять, в ногах у Зубова валяться хоть сутки...

– Да отчего же он, шельма, не хотел? Простое дело. Самому надумать бы следовало.

– Сказывал: не стоит... Все поггло... Княжну вернешь самое, но уж... не совсем тоись...

– Как не совсем? Не пойму!

– Княжну, сказывал, может, князь и отдаст назад, но, стало быть, ее только самое вернешь, а чести ее уж не вернешь...

Князь вдруг залился громким хохотом и даже опрокинулся на подушку дивана.

– Ой, батюшки, уморил... О-ох... дай воды испить...

– Ну, ты уверил его, дурня, что невеста его для меня свя-

ценна осталась? Хотя сейчас получай в полной неприкосновенности.

– Уверял. Вот он и был у Зубова. Тот все не хотел, но потом поддался и обещал вам написать.

– Ну, а когда?

– Записку с курьером, должно быть, завтра получите.

– Ну, ладно... Спасибо... Я у тебя на свадьбе посаженным.

– Не стою я ваших милостей.

– И у меня, братец ты мой, – рассмеялся князь, – из-под носу невесту не увезут от жениха. Ступай и посылай ко мне Баура. Надо тоже и пустяками заняться. Просьбу датского резидента вели ему захватить с собой... Совсем забыл со всей этой кутерьмой.

На другой день действительно явился курьер от Зубова и привез князю записку.

Зубов объяснил Потемкину, что он вмешивается в дело, до него не касающееся, только из жалости к артисту и из «чувства оскорбленной справедливости», а затем и «ради попирания законов гостеприимства», и наконец, «в защиту несчастной сироты, одинокой на чужбине».

– Вишь как расписался! – воскликнул князь. – Все тут есть... Только смекалки нет...

Князь велел сказать курьеру, чтобы он передал на словах господину Зубову, что князь получил записку, но отвечать ему на нее нечего.

В то же время князь вызвал Немцевича и объяснил ему,

чтобы он ехал тотчас к Велемирскому и сказал: «Пора».

– Понял ты!

– Понял-с.

Когда капитан был в дверях, князь вдруг остановил его, как бы вспомнив:

– Стой. Про какую это ты прошлый раз княжну говорил? Как сказывал-то... Изфагановская, кажись?

– Точно так-с! – робко шепнул Немцевич.

– А кто она такая... Откуда ты ее выискал?

– Не могу знать-с!.. – прошипел капитан. Когда он вышел, князь весело расхохотался. Вечером явился и сам граф Велемирский.

– Завтра в двенадцать часов Платон Александрович будет к вам, – произнес он, театрально кланяясь.

– Молодец! – крикнул князь. – Садись. Рассказывай, как обделал...

– Не сердитесь только, князь... Может, я пересолил, – сказал граф. – Только ведь это из усердия! По необходимости, а не по глупости.

– Что такое?

– Я действовал через всех знакомых. И ото всех слышал в ответ только одно. Зубов говорит, что ему на такой шаг решиться при их отношениях неприлично, не позволяет амбиция. Да и толку от сего, кроме унижения, ничего не будет. Тем дело и кончилось... Прогорело все.

– Ну?

– Ну, я перекрестился да сам к нему и махнул.

– Как сам? Да ведь ты у него никогда не бывал. Ты из моих.

– А вот. Сам-то я все и устроил! – рассмеялся Велемирский. – Приехал и объяснил все дело. А дело вот какое... Простите, коли пересолил... Дело такое, что тетушке графине Александре Васильевне, да и всей родне нашей, очень неприятно все это происшествие с княжной Изфагановой и что все мы на князя Григория Александровича, поскольку посмели, напали с осуждением и просьбой освободить персидскую княжну. Князь, видимо, и сам был смущен необдуманым шагом... Да и княжна ревет, мечет и плачет и руки на себя наложить два раза хотела, так что ее чуть не на привязи держат и караулят... Дело, стало быть, плохо... Князь сам видит все, но уперся... Стыдно... Будто ищет только приличного предлога, чтобы разделаться с этой княжной... Предлог этот есть, и сам князь обмолвился...

– Ну, ну... Пока хорошо... А вот тут загвоздка. Что ты на меня-то выдумал?

– Князь обмолвился, – продолжал Велемирский, – что если бы сам Зубов, у него почти не бывающий, разве только по особенно важному государственному делу или поручению царицы, – если Зубов сам приедет и попросит князя вернуть невесту, но не жениху ее, а только отпустить и дать свободно уехать к себе, да поручится князю, что сего ненавистного брака с скрипачом не состоится, то князь тотчас ее отпустит.

– Ну...

– Ну, он помялся, помялся, да чтобы всех одолжить – и вас, и всю нашу родню, и княжну, да и себя самого... и согласился.

– Ну и одолжит! Воистину одолжит!

– Завтра, в двенадцать часов, он и будет лично к вам просить отдать ему эту прелестницу, обещаясь, что не допустит ее брака с музыкантом.

– А сам думает небось про себя: «и надую». Поедут вместе домой к ней – да и обвенчаются где по дороге, хоть в Москве или Киеве...

Отпуская Велемирского, он поцеловал его и затем приказал позвать Баура.

– Завтра прием... Я выздоровел.

Князь рано лег спать и наутро рано проснулся. Одеваясь, он почти по-товарищески весело болтал с Дмитрием о всяком вздоре, вспоминал кое-какие приключения из прошлого, случаи из жизни в Яссах.

– А что наша княжна, – спросил он, – готовится на объяснение?

– Чего тут готовиться... – фамильярно отвечал Дмитрий. – Нешто такая голова, чтобы загодя гадать, что говорить! Бесценная голова – умница, каких поискать, да и днем с огнем не найдешь! И как это вот бывает на свете, в таком состоянии и такими свойствами Господь одарит... – важно зафилософствовал лакей, одевая барина и подавая уже кам-

зол.

– Господу Богу все равны. Кого захочет, того и взыщет. Ну, а как мундир? Скоро поспеет?

– Какой мундир? вам?

– Дурень... Мундир княжне Изфагановой...

– А-а... Готов! Уж примеривали, – весело сказал Дмитрий. – Чуден вышел канцелярский служитель, Григорий Александрыч.

– Да мал еще очень! Совсем видать – не мужчина, как ему быть следовало... А ребенок либо девчонка.

– Сам с ноготок, да ум в потолок!

В эту минуту вошел в уборную капитан Немцевич и доложил, что просители уже набираются и происходит удивительное.

– Что ж такое? – спросил Потемкин.

– Да уж очень много, – сказал капитан. – И простых людей много.

Князь усмехнулся.

– Что ж мудреного, – сказал он, обращаясь к офицеру. – Столько вот дней приему не было, ну и понабралось, зараз и полезли...

XVI

В зале князя действительно, вследствие двухдневного отъезда, набиралось много посетителей... Были и сановники, которым дали знать, что князь выздоровел и будет принимать... Но были и офицеры. Было много и простых людей, купцов, мещан и разносортных горожан.

В некоторых группах офицеров шел разговор.

– Вы что, полковник, по какому делу? Жалоба аль благодарить за что?..

– И сам не знаю, зачем приехал...

– Вот как? Стало, нас этаких тут много...

– И вы тоже не знаете...

– Да мне граф Велемирский сказал, что князь хочет посоветоваться с офицерами о новых уборах головных и покажет модели. Говорит: случай лично беседовать с князем.

– А вы что... Почему...

– Да мне сродственник один посоветовал сегодня собраться просить князя насчет моего дела в Соляном правлении.

Такие все шли разговоры.

Наконец в полдень князю доложили о прибытии Зубова.

– На моей улице праздник! – произнес он. Затем он быстро встал и двинулся в залу.

Все шевельнулось, зашумело, двинувшись, и поклонилось.

Князь ответил кивком головы на общий поклон и своей тяжелой походкой прошел мимо двух рядов плотной толпы прямо к противоположным дверям и остановился...

Зубов уже двигался к нему по анфиладе гостиных...

Князь ждал на пороге, и по лицу его пробежала недобрая усмешка...

Зубов ускорил шаг и подошел... Лицо его казалось несколько смущенным. Видно было, что он будто сам не рад, что явился.

– Чему обязан удовольствием вас видеть?.. – с сухой любезностью проговорил князь, подавая руку.

– Дело, князь...

– Поручение от государыни?

– Нет, князь... Я по своему делу... то есть по особому делу...

И Зубов сделал незаметное движение вперед, как бы говоря, что пора двинуться и идти в кабинет...

Князь будто не заметил движения и не шевельнулся с места, а только повернулся боком к толпе, и оба очутились почти на пороге, друг против друга, окруженные толпой почти вплотную.

– Я слушаю... – произнес князь.

Зубов слегка усмехнулся.

– Но здесь... Я не могу. Я могу только наедине объяснить... Вам будет неприятно. Вам! Если я здесь все скажу. Поймите... Мне все равно!.. – несколько свысока промолвил

флигель-адъютант, косясь на толпу.

– И мне тоже, Платон Александрович, все равно... Тайны у нас с вами нет.

– Извольте! – вспыхнув, вымолвил Зубов громко. – Я приехал просить вас освободить княжну Изфаганову.

Князь глядел на молодого человека и не отвечал.

Фамилия произвела магическое действие. Все встрепенулись, прислушиваясь, ждали.

Наступило молчание в зале, и, несмотря на многолюдство присутствующих, воцарилась полная тишина, не возмущаемая ни единым звуком.

– Вы приехали за княжной Изфагановой? Просить освободить как бы из заточения?.. – повторил князь.

– Да-с...

Снова молчание. Князь вздохнул.

– И этого сделать не могу, – произнес он. – Но скажите, государь мой, – снова громче заговорил князь, – какое вам до этого дело? И как вы в такой переплет замешались?

Зубов выпрямился и произнес запальчиво:

– Похитить чужую невесту, чуть не из храма, и держать ее насильно...

– Кто же вам все это сказал?

– Я был приглашен на свадьбу княжны и видел... Княжна сама просила...

– Извините. Вы ошибаетесь. Я это строго запретил! Эта, именуемая вами княжной Изфагановой, вас усиленно про-

сила не быть в церкви. Вы явились по приглашению...

– Все равно... Жених позвал меня как защитника, боясь насилия... И он не ошибся! И вот я поневоле являюсь теперь защитником сироты-чужеземки, почти ребенка.

– Позвольте же вам доложить: никакой княжны Изфагановой на свете нет и не было! – проговорил князь мерно. – Был маскарад, чтобы проучить здорово проходимца, который явился ко мне сюда под именем маркиза-эмигранта... А что многие лица полезли, куда их не звали, приехали на бал, куда их не приглашали, – я сожалею, но в этом не виноват... А что вы, наконец, вмешались в этот маскарад по молодости лет – я еще более сожалею. Мой главный скоморох – сиречь юная персидская княжна – сама просила вас, по моему приказанию, в церковь не ездить...

Зубов несколько оторопел и глядел на Потемкина уже с тревогой в лице...

– Я ничего не понимаю, князь. Какой маскарад!.. – выговорил он. – Стало быть, княжна Изфаганова...

– Не княжна! – отвечал князь вразумительно. – Так же как маркиз – не маркиз.

В зале наступила опять тишина и молчание. Зубов стоял румяный и смущенный, но вдруг вымолвил:

– Я не верю. Извините... Пускай княжна, запертая у вас, сама придет сюда и сама все это скажет. Я поверю!

– Брусков! – крикнул князь.

– Чего изволите? – отозвался тот за его спиной.

– Позови, поди, сюда прелестницу персидскую, которая вместо одного многих обморочила и в шуты вырядила. Пускай сама явится.

Офицер кинулся в кабинет, и с этой минуты все взоры приковались к дубовым дверям.

– Да-с, – продолжал князь. – Я этого, конечно, всего предвидеть не мог... Я хотел пошутить только над самозванцем маркизом. А потрафилось не то. Один скоморох – правду сказать, шельма и бестия – весь город одурачил...

– Но кто же тогда эта... девушка... Ваша крепостная?.. – вымолвил Зубов, уже окончательно смущенный.

– А вот извольте спросить сами! – любезно отозвался князь, указывая на отворяющиеся двери...

На пороге показалась маленькая фигурка в светло-голубом платье с вырезным лифом и матово-серым вуалем на голове.

– Княжна Эмете!.. Пожалуйте! – сказал Потемкин.

Красивая фигурка приблизилась.

– Это ли княжна, господин Зубов?

– Это. Да... – пробурчал молодой человек.

– Ну, винися... Шельма! – рассмеялся князь... – Буде скоморошествовать-то. Довольно у тебя ручки-то лизали разные старые и молодые! Иди-ка на расправу... Говори... Княжна ты или нет... Персидская?..

– Нет, ваша светлость! – вымолвила фигурка, косясь на толпу с румяным от смущения лицом...

– Верите ли вы, господин Зубов... – обернулся князь.

Зубов стоял уже не смущенный и насмешливо улыбался.

– Если она, эта девушка, сама говорит, что она не княжна, – отозвался он умышленно развязно, – то, конечно, я должен верить... Но, извините, я не понимаю главного.

– Чего же?

– Остроты, князь. Остроты во всей вашей шутке. Разума и цели в машкераде.

– Как тоись?..

– В чем же ваша проучка самозванца маркиза или шутка над всеми... Выдать прелестную девочку за княжну персидскую и дать влюбиться музыканту, чтобы потом ее у него отнять. Ему больно. Да. Но извините... – надменно смеясь, выговорил Зубов, обращаясь как бы ко всем. – *Peu de seul*,³³ как говорят французы.

– А я так боюсь, Платон Александрыч, что я пересолил...

– Мало потому, что если это не княжна, то, во всяком случае, прелестная девушка, умная!

– Да, но в этаких на святках не влюбляются, а тут многие врезались, руки целовали и, более того, обнимали да чмокали... Ну, буде... Конец машкераду! Княжна... Шельма! Раздевайся!..

Раздалось несколько восклицаний, так как на глазах у всех маленькая фигурка начала послушно и быстро расстегивать лиф платья.

³³ Мало соли (фр.).

– Что вы делаете, князь! – прошептал в изумлении и негодовании Зубов.

– Хочу вам в его настоящем виде калмычка показать...

– Калмычка?

– Кал-мы-чка!.. – протянул князь. – Пока так...

Маленькое существо быстро побросало уже на пол всю свою одежду и вуаль, и, когда платье съехало на пол, вышел из круга складок в красной куртке и шальварах прелестный мальчик, но при этом, уже и сам невольно смеясь, застегнул ворот на голой груди, которая была открыта под вырезом женского платья. В зале пошел гул сотни голосов.

– Честь имею представить! – сказал князь, обращаясь ко всем. – Калмык, по имени – Саркиз. Зацеловали беднягу. Да чуть было не обвенчали и храм христианский не опоганили. Спасибо моим молодцам, что вовремя Саркизку арестовали... А вам, Платон Александрович, спасибо за добровольное участие в машкераде. С вами веселее вышло. Честь имею кланяться...

XVII

– Слышали о потемкинской мороке?

– Слышал, да в толк не возьму.

– Чудеса в решете. Ну и афронт для всех тоже не последний!..

– Калмык. Простой, тоись, калмык, сказывают?

– Калмык – Саркизом звать. Настоящий. Из Астрахани!

Привезен был нарочито для машкерада этого и мороки. Выбирали по всем базарам самого красивого, какой найдется. Ну и нашли! Сей чудодей захочет птичьего молока и сухой воды – ему достанут...

– Слышали? Персияне-то наемные были из Москвы и тоже обморочены были. Им сказали, что свита принцессы в дороге застряла, а их на время берут. Они сами почитали ее... Тьфу! Его почитали за княжну персидскую. Ну и служили верой и правдой. Только дивились, что княжна по-ихнему ни бельмеса не знает. Да жалованье хорошее мешало им очень-то дивиться да ахать и болтать. А две бабы-то, сказывают, и вовсе русские были. За то они обе и молчали завсегда...

– Послушайте. Что же это?! Калмык-то князев?!

– Что ж! С жиру бесится!

– Да ведь это невежество. И не дворянский совсем поступок, воля ваша! Что ж это за времяпрепровождение?!

– Да и не смешно. Озорничество одно. А остроты никакой

тут...

– Ума нет простого, не токмо остроты. Благоприличия нет... Уважения к своему сословию...

– Одно слово: развращенность и повреждение нравов.

– А ведь князь Хованов попался. Руки целовал каждоедневно.

– Ну, ему, старому, поделом!

– А Зубов-то? Зубов?

Зубов был взбешен, конечно, более всех и поклялся отомстить. Но не по-русски – смехом и морокой, а, как говорил князь, – по-английски, т. е. злом, а не шуткой. Зубов готовил князю удар в самое сердце.

В домово́й церкви Таврического дворца на той же неделе были торжественные – свадьба и крестины.

Венчался офицер Брусов с барышней Саблуковой, а князь был сватом и посаженным отцом у невесты. И все смеялся, поздравляя после венца молодых.

– Смотри, Брусов... Не башкиренок ли?!

Крестины были еще торжественнее. Все, что жило во дворце Таврическом, присутствовало. Крестился калмык Саркиз, и князь был восприемником от купели.

И вышел из церкви уж не Саркиз, а Павел Григорьевич Саркизов, получив имя от благодетеля и бывшего своего ба-рина, а отчество от крестного отца.

Наутро Павел Григорьевич получил чин сенатского секретаря, пять тысяч рублей денег: но от невесты-приданницы,

что прочил ему князь, отказался.

– Что? Аль боишься? Подведу тоже и тебя! – шутил князь.

Павел Григорьевич объявил, что просит одной милости – быть век при князе по гражданским поручениям...

Через неделю управляющий канцелярией фельдмаршала Попов сделал Саркизова делопроизводителем и доложил князю:

– Видал я на своем веку двух-трех, как их именуют, самородков, ну, а этакого не видывал. Чрез пять лет на моем месте будет, а то и выше...

А сам Павел Григорьевич горячо теперь исповедовал и молился новому своему Богу – христианскому. Но часто думал:

«Пока князь жив! А без него беги из Питера на край света. Да и там найдут для отплаты».

XVIII

– Это неправда! Нет, это неправда! Могущественные и властные люди, «сильные мира сего», не все могут делать... Могут ли безнаказанно всякие злодеяния творить... Я любил ее... И она меня любила и любит. Это неправда. Сердце мне говорит это... И где княжна? В каземате? Погублена. Где ты, бедная Эмете, жертва самовластия? Я слезы лью от зари до зари. Томлюсь в тысяче терзаний, изболел душой по тебе... А ты этого и не знаешь... Где ты, бедная крошка?.. Неужели я никогда не увижу тебя, не обойму, не прильну губами к твоему милому личику... Твой взгляд изумрудный, глубокий, полный слез наслаждения, когда я играл тебе. О! я вижу его! Вижу, как если бы ты была предо мной... Эмете, где ты?.. Боже мой, за что судьба так безжалостно поступает с людьми? Чем я заслужил эту кару? Что я сделал? Я жил всю жизнь безвинно. На моей совести нет ничего... За что же это наказание? За что эта насмешка судьбы? После нищеты, голода, холода – дать мне много, обещать еще большее... Дать мне любовь чистого и невинного создания, чудно красивого, доброго... С душой, способной на восторженный отклик тому, что составляет и наполняет мою жизнь, – способной рыдать от музыки... Дать мне все это... И отнять... Эмете, где ты? Неужели она уже мертвая. В гробу! Под землей... Или убитая зарыта тайком в Таврическом саду по приказу

нию сатрапа, пресыщенного всем, что свет может дать за его миллионы и его власть... Нет!! Нет, она жива! Я верю. Я чувствую... Она жива... А если жива, то любит меня. Эмете! Отдайте мне ее. Я люблю ее. Отдайте мне... Отдайте...

Так мучился артист-музыкант, приютившийся в квартире старика пастора.

Он томился, то плакал тихо, то рыдал судорожно и отчаянно, говорил сам с собой и стонал и ни разу не взял в руки свою скрипку.

Зубов в тот же день сказал ему правду. Он поверил... но, пролежав часа два в обмороке, так что его приняли уже за мертвого, он пришел в себя...

Пришел в себя и понял, что над ним зло посмеялись. Они погубили его возлюбленную и с наглостью уверяют его и убеждают... В чем же? Что ее никогда не было на свете!

Наконец однажды пастор понял, что бедный артист близок к помешательству.

«Лучше сердечная боль от оскорбления, лучше пусть страдает его самолюбие, нежели эти муки сердца влюбленного в несуществующее».

Так рассудил старик и отправился к Зубову объяснить все и просить устроить артисту свидание с той личностью, которая так зло насмеялась над ним.

Зубов наотрез отказался. Одно воспоминание обо всей истории его вывело из себя.

Пастор решил и отправился прямо к князю в приемный

день, был принят и объяснился.

Князь подумал и головой покачал.

– Жаль молодца. Но ведь горю не пособишь. Я полагаю, что он и самой княжне в вицмундире не поверит...

Князь велел позвать делопроизводителя Саркизова и пояснил казус с музыкантом.

Павел Григорьевич выслушал и грустно потупился.

– Что же? – спросил князь.

– Увольте, ваша светлость, – глухо и тихо проговорил он – Вы сами изволите сказывать... Кончен машкерад, и кончена эта канитель. Я свое слово сдержал, хоть и трудно было. Душа не лежала к этому. Я знал, что злодеяние совершаю. Кому смех, а кому и горе, отчаяние. Я слово дал и сдержал. Сдержите и вы свое... Мне видеть музыканта будет тяжело, так тяжело, что я и сказать не могу. Ведь я ему сердце растерзал... Мне его жаль... А видеть просто не в силу. Увольте хоть пока. А чрез месяц – обойдется, может. Тогда мы повидаемся... А затем ваша воля – как прикажете...

Наступило молчание.

Пастор, пораженный голосом Павла Григорьевича, ничего не сказал.

«Этот тоже страдает из-за причиненного им ближнему зла», – подумал старик.

– Ну, вот ответ! – сказал князь пастору. – Я приказывать не стану. Чрез месяц, коли мы будем еще здесь, пускай свидятся.

Пастор вернулся домой... Объяснил несчастному все, что видел и слышал сам, своими глазами и ушами.

Но артист засмеялся, а потом горько заплакал как ребенок.

– И вы тоже! Священник! Тоже ложь, даже в устах служителя алтаря...

ЭПИЛОГ

*Чей одр – земля, кров – воздух синь,
Чертоги – вокруг пустынные виды...
То он – любимый славы сын,
Великолепный князь Тавериды!*

Державин

Голая равнина на громадном протяжении вся изрезана водными потоками, из которых каждый – широкая быстрая река и бурно катит свои волны в недалекое море. Это – рукава и гирлы Дуная.

На одном из рукавов, вдоль пологого берега, раскинулись кое-где постройки... Это маленький городок Галац.

Здесь, среди домов и домишек, кое-где виднеются христианские храмы, а за рекой, на том берегу, уже высятся тонкие и легкие остроконечные минареты. Там начало мусульманского мира.

В маленьком городке заметно особенное оживление, но весь город кажется лагерем. На улицах и в домах только и видны, что мундиры, на площадях – кони и орудия.

Несмотря на августовские жары, горячий воздух и раскаленную землю, на улицах сильное движение.

Три дома в городе разделили между собой толпы военных и служат как бы центрами сборищ.

В одном из них, поменьше других, квартира военачальника князя Репнина.

Еще несколько дней назад он был главнокомандующим победоносной армии... Великий визирь после поражения при Мачине сносился с ним одним.

Но вот не так давно явился сюда могущественный вельможа и полководец, «великолепный князь Тавриды», и принял вновь начальство над русскими силами и над заменявшим его полгода Репниным...

И теперь он первое лицо здесь – и для своих, и для неприятеля.

В другом доме, неподалеку от первого, красивой архитектуры, но сравнительно меньшем, движение ограничено подъездом и двором. К дому идут и скачут офицеры со всех сторон, но, не входя, а только побывав в передней или на дворе, возвращаются обратно... Они являются сюда за вещами...

В этом доме поместился генерал русской службы, принц Карл Вюртембергский и за последнее время опасно заболел южной гнилостной горячкой. Так как это родной брат жены наследника престола, то болезнь его многих озабочивала.

На другом краю города, в большом доме, где поместился приезжий со свитой князь Таврический, движение более чем когда-либо.

В одной из горниц этого дома, несколько в стороне от всех остальных, на большой софе лежит в одном белье и турецких

туфлях на босу ногу огромный широкоплечий человек, лохматый, неумытый, небритый и задумчиво, почти бессмысленно смотрит в пустую стену и грызет ногти... Лицо его изжелта-бледное, худое, осунувшееся, не только угрюмо, а печально-тоскливо... Он или был опасно болен, или горе поразило его недавно. Черты лица настолько изменились за последнее время, в волосах так дружно сразу блеснула седина, а глаза так неожиданно вдруг потускнели... что этого человека многие друзья и враги едва бы теперь узнали. Друзья бы ахнули, а враги возликовали.

Это сам князь Потемкин, еще недавно, месяца с полтора назад, выехавший из Петербурга добрым, веселым и могучим. Он скакал счастливый чрез всю Россию, сюда, на Дунай, снова громить векового врага, надеясь теперь окончательно стереть его с лица земли, именуемой Европою, и, «оттеснив луну от берегов этой реки, перебросить затем чрез Босфор, на тот берег, где уже другая часть света...». Это его мечта уже за двадцать лет, и она его несла и гнала как вихрь от берегов Невы на берега Дуная. Но здесь ожидал богатыря удар, сразу сразивший его... Только это, что он узнал здесь, могло сломить его железную мощь и духа, и тела...

Первого июля прискакал он в этот городок, окруженный целой золотой толпой военачальников и сановников... и стал лихорадочно поджидать появления своего заместителя с поздравлением по случаю прибытия в армию и с первым докладом...

Князь Репнин, видевший въезд генерал-фельдмаршала, главнокомандующего, – медлил и не являлся...

Прошел час.

Тень набежала на лицо князя... Оставшись один с любимой племянницей, всюду его сопровождавшей, он поглядел на нее тревожными глазами и вздохнул.

За час назад графиня Браницкая видела его счастливым и сияющим... На ее удивление и вопрос о причине внезапной перемены князь ответил с тревогой в голосе:

– Боюсь... Сашенька... Боюсь... Если Репнин не прибежал тотчас, не выбежал за сто верст навстречу! то... дело плохо! Мое дело плохо!

Несмотря на возражения, шутки и успокаивание дяди, графиня не добилась улыбки от него.

– Сразит меня. Если это так!

– Что?

– Команда передана ему... Тайно. Без моего ведома. Я здесь второй... Я этого не перенесу. Что ж хуже этого может быть... Ничего! Одно разве – мир с Турцией. Да. Уж если выбирать, – то пускай я буду его адъютантом, его ординарцем на побегушках, да буду видеть, как мы начнем громить турку.

Князь Репнин явился наконец, поздравил светлейшего с прибытием из дальнего пути и как бы передал ему права главнокомандующего, начав доклад подчиненного о последних событиях на берегах Дуная.

А одно событие мирового значения совершилось вчера...

Вчера, 31-го числа июня, он, князь Репнин, заместитель светлейшего, подписал здесь в Галаце перемирие с султаном и прелиминарии будущего трактата. Вчера! Молния ударила в сердце и в мозг богатыря и с этого мгновения – он до сих пор еще не пришел окончательно в себя.

– Как вы смели? – вскрикнул он тогда. И до сих пор еще в ушах его звучит ответ Репнина, много значащий, многое говорящий иносказательно и многое объясняющий, чему не хотел верить князь еще на берегах Невы.

– Я исполнил свой долг и отдам ответ в моих действиях государыне императрице, – сказал Репнин.

«Перед ней, монархиней, а не пред тобой. Тебя прежнего уже нет. Ты был! Теперь ты нечто иное... Могущественный Потемкин заживо умер, осталась внешняя твоя оболочка в мундире и орденах, а пустяки, мелочная подробность, т. е. власть и могущество, от тебя отошли».

«Отчего и когда!.. От одного слова, одной бумаги, которую привез сюда курьер из Петербурга, когда ты там чудодействовал... Теперь ты, как кукла, имеешь все права и полномочия действовать так, как тебе прикажет оттуда тот, кто власть имеет...»

Платон Александрович Зубов! Мальчишка!

Он вел все лето тайные переговоры с Диваном, и он привел их к указу царицы о подписании первых основных условий мирного трактата между двумя империями.

Вот с этого дня и лежит на диване, полураздетый, будто обезумевший, человек, будто заживо погребенный... Да и впрямь, жизнь его держится только в теле, ухватившись за соломинку... Он писал и пишет в Петербург, умоляя в тысячный раз – продолжать войну, но и сам не верит в успех своих молений. Он верит только в русский авось!

«Авось что-нибудь случится, и он снова расстроит мир и снова ударит на врага». Если же этого ничего не случится – то... Что же? Надо умирать!.. Песенка его спета и кончилась, оборвалась тогда, когда он думал, что еще только на половине ее.

И она обманула его, как прежде, по его же совету, обманывала других... Григорий Орлов также был поражен здесь же одним неожиданным известием. Он поскакал в Петербург, но не был допущен в город... Очутился узником в Гатчине. А когда был допущен, то встретил в ней уже только монархиню, милостивую и благодарную, но свергнувшую с себя всякое иное иго.

Что ж? И ему скакать теперь туда, чтобы очутиться узником в Москве или даже в Таврическом дворце, без права явиться в Зимний впредь до особого разрешения гофмаршала.

«Нет, уж лучше умирать!»

Мирный трактат будет праздноваться на его свежей могиле.

Борьба Креста с Луной была его душой. Нет борьбы – нет

души. Она отлетела. А эта скорлупа, это брэнное тело – ни на что никому не нужно. И ему не нужно. Он видел на своем небе Крест, а на нем надпись: «Сим победиши». Упал этот крест с русских небес и утонул в волнах Дуная...

И все кончено!..

* * *

День за днем проводил так, в каком-то полузабытии, томительном и болезненном, князь Таврический, еще недавно деятельный, самоуверенный, счастливый...

Давно ли он был способен с маху и на отважный политический шаг, весь успех которого именно в дерзости, в махе. И на ребяческую проказу, вся прелесть которой – в ее добродушии... Теперь и то, и другое было немислимо. Полный упадок духа и надломленность тела сказывались во всем. Он никого не принимал, изредка справляясь о курьере, которого ждал из Петербурга, и об здоровье принца Карла.

Однажды графиня Браницкая вошла к дяде и объявила ему печальную вестъ.

– Дядюшка, принц Вюртембергский скончался.

Князь онемел... Потом он сразу поднялся с дивана и вытянулся во весь рост. Лицо его побледнело.

– Что? – прошептал он и через мгновение робко прибавил: – Как же это?

И, постояв, князь сгорбился понемногу, осунулся весь и

опустился бессильно на диван, почти упал.

– Ох, страшно... – простонал он. – Да и рано... Рано же!!

– Что вы, дядюшка? – изумилась графиня, зная, что между покойным принцем и дядей не существовало крепкой связи, а была лишь одна простая приязнь.

Князь молчал и тяжело дышал.

– Что вы, дядюшка? – повторила графиня.

– Сашенька! Цыганка в Яссах о прошлую осень предсказала по руке принцу, что ему году не прожить.

– Странно... Ну что ж... Бывают такие странные совпадения... Чего же вы смущаетесь?

– А мне – год...

– Что-о?

– А мне – год дала... Ровно год... Мы тогда смеялись...

Вот...

Князь закрыл лицо руками.

– Полноте, дядюшка... Как не стыдно? Бог с вами. Это ребячество. Ну, тут потрафилось так. Но ведь это простая случайность.

Браницкая села около князя и долго говорила, успокаивая его...

– Это простая случайность! – повторяла она.

Наконец князь отнял руки от бледного лица в слезах и выговорил глухо:

– Не лги, Саша... Сама испугалась и веришь...

– С чего вы это взяли!

– По твоему лицу и голосу... Сама веришь, испугалась и лжешь...

И князь замолчал и просидел несколько часов, не двигаясь, в той же позе, понурившись и положив голову на руки.

На третий день после этого князь, слабый, унылый, задумчивый и рассеянный, будто совсем ушедший в самого себя, оделся в свою полную парадную форму главнокомандующего и генерал-фельдмаршала и, сияя, весь горя, как алмаз, в лучах южного палящего солнца, отправился на похороны умершего принца...

Все, что было воинства от офицеров до генералов в Галаце и окрестностях, явилось присутствовать на погребении и отдать последний долг хотя чужестранному принцу в русской службе, но родному брату будущей царицы.

Всех поразила фигура генерал-фельдмаршала.

Он тихо двигался, странно глядел на всех, озирался часто по сторонам, будто усиленно искал что-то или кого-то, но на вопросы и предложения услуг ближайших бессознательно взглядывал и не отвечал.

И за все время отпевания он не произнес ни слова.

Наконец, оглянувшись вновь кругом и завидя движение около гроба, всеобщее молчание, отсутствие пастора, он услышал смутно слова: «Вас ждут, князь». Он отозвался как в дремоте:

– А? Что?

– Вас ждут, князь, – говорил тихо Репнин. – Соизвольте...

Или прикажете всем прежде вас подходить?

– Что?

– Прощаться с покойником!

– Да... Да... Я первый. Первый... – прошептал князь глухо. – Да, первый после него, из всех вас... Моя очередь. За ним – первый...

Репнин ничего не понял и, приняв слова за бред наяву, изумленно глянул в желтое и исхудалое лицо светлейшего.

Князь полусознательно приложился к руке покойника и, отойдя от гроба, двинулся к дверям между двух рядов военных.

Всюду толпа, мундиры, ордена, оружие... Все незнакомые лица, и все глаза так пристально-упорно смотрят на него... Точно будто он им привидение какое дался...

Князь двинулся скорее. Уйти скорее от них, от их пучеглазых лиц, их глупого любопытства!

Сойдя с крыльца снова под жгучие лучи солнца, палящего с безоблачного неба, он увидел лошадей... Экипаж при его появлении подали к самым ступеням подъезда. Дав ему время остановиться, князь сел...

Лошади не трогаются... Чего они?! Уж ехали бы скорее от этого глупого народа. Скучно! Ну, что ж они?.. Застряли!

– Ваша светлость! ваша светлость! – уж давно слышит князь голос около себя, и наконец кто-то дергает его за рукав мундира...

– Ваша светлость!

– А-а?.. – вскрикивает он, как бы проснувшись.

Маленький, красивый чиновник, его новый любимец, Павел Саркизов, стоит перед ним, смело положив руку на обшлаг его кафтана.

– Извольте слезть! – говорит Саркизов тревожно.

– Чего?

– Извольте слезть!.. Вы по забывчивости... Слезайте...

И Саркизов смело потянул его за рукав...

Князь очнулся, огляделся и, вскочив как ужаленный, сразу шагнул прочь...

Он увидел себя сидящим среди погребальных дрог, поданных к подъезду для поставки гроба.

Жутко стало, защемило на сердце суеверного баловня счастья.

Князь быстро отошел, сел в свои дрожки и, отъезжая от толпы, отвернулся скорее...

Он чуял, какое у него в этот миг лицо, и не хотел казать его толпе.

– Видели? – говорила эта толпа шепотом.

– Да... По рассеянности!

– Ох, плохая примета...

– Совсем негодная примета. И верная.

– И без приметы вашей – приметно! По лицу его... Недолог!..

Так говорили, перешептываясь и толпясь вокруг погребальных дрог, собравшиеся офицеры...

«Ох, типун вам на язык! – грустно думал маленький и красивый чиновник-юноша, прислушиваясь к этому говору. – Злыдни! Вы бы рады! Да Бог милостив... Не допустит. Его смерть – моя погибель... Ох, Фортуна! Неужто она и со мной ныне – мудреные литеры вилами по воде пишет... Страшно... Помилуй Бог. Куда тогда бежать, где укрыться... Только разве за границу, в Польское королевство...»

Был он Саркизка – и весело жилось... Светел был весь мир Божий... Стал он чиновник канцелярии, Павел Григорьевич... на миг все блеснуло кругом еще ярче, но тотчас же темь началась, и вот все больше темнеет и темнеет... Надвигается отовсюду на душу оторопелую тяжелая мгла... и чудится ему голос:

«Я отшутила... Буде!...»

Это Фортуна кричит ему из мглы...

* * *

Ровная, голая, однообразная пустыня раскинулась без конца во все края... Ни камня, ни дерева, ни птицы, ни чего-либо, на чем взор остановить... Это степь молдавская.

Степь эта словно море разверзлось кругом, но черное, недвижимое, мертвое. Не то море, что лазурью и всеми радужными цветами отликает, встречая и провожая солнце, что журчит и поет, покрытое золотыми парусами, или порой, озлобясь, стонет и грозно ревет, будто борется с врагом, с

невидимкой вихрем. Но, истратив весь порыв гнева, понемногу стихает, смотрится вновь в ясные небеса, а в нем сверкают, будто родясь в глубине, алмазные звезды.

Здесь, в этом черном и недвижимом просторе, нет ни тиши, ни злобы – нет жизни.

В теплый октябрьский день, в этой степи, в окрестностях столицы Ясс, летели вскачь три экипажа, в шесть лошадей каждый. Вокруг передней открытой коляски несло трое всадников конвойных.

В коляске, полулежа, бессильно опустив голову на широкую грудь и устремив тусклый взор в окрестную ширь и голь, бестрепетную и немую, сидел князь Таврический. Около него была его племянница... И ее взор тоже грустно блуждал по голой степи, будто искал чего-то...

Князь упрямо решился на отчаянный шаг, безрассудный, ребячески капризный и, быть может, гибельный...

Уехав из Галаца тотчас после похорон принца Карла, он весь сентябрь месяц прожил в Яссах. И все время был в том же состоянии апатии... Изредка он сбрасывал с себя невидимое тяжелое иго безотрадных помыслов, боязни телесной слабости... Он принимался за работу, переписывался с царицей и со всей Европой, надеялся вновь на все... Надеялся разрушить козни Зубова, прелиминарии мира с Портой, интриги Австрии и Англии... Все с маху вырвать с корнем и отбросить прочь!.. Все!! От Зубова и трактата – до боли в груди и поясице...

Но этот подъем духа и тела – был обман... Так бывает подчас, вспыхивает ярко, порывом угасающее пламя и, блеснув могуче, сверкнув далеко кругом, упадет вновь и бессильно, будто мучительно ложится и стелется по земле...

После порывов работать и надеяться, после попыток схватиться с невидимым подступающим врагом и побороть его князь детски, бессильно уступал, сраженный и умственно, и телесно.

– Нет... Рано еще мне... Я не все свершил! – восклицал в нем голос. – Подымись, богатырь!.. Схватись! Потягайся! Еще чья возьмет!..

Но скоро страдным тоном отзывалась в нем эта борьба.

– Нет, не совладаешь... Конец!

С первого же дня октября месяца князь почувствовал себя совсем плохо... и в первый раз сказал вслух:

– Я умираю... Да! Я чувю ее... Смерть...

И 5 октября князь вдруг решил, как прихотливый ребенок, покинуть Яссы и ехать в отечество.

Напрасно уговаривала его Браницкая и все близкие остаться спокойно в постели и лечиться.

– Нет. Я умираю. Хочу умереть в моем Николаеве, а не здесь, в чужой земле.

И слабый, едвадвигающий членами, едва держащий голову на плечах, сел в коляску...

И три экипажа понеслись в карьер по степи молдавской...

Прошло часа два... Князь изредка заговаривал, обраща-

ясь к племяннице, и произносил отрывисто, но отчетливо и сильным голосом, то, что скользило будто через его темнеющий и воспаленный мозг. Это были отрывки воспоминаний и намерений, или порыв веры, или приступ боязни, или простые, но сердечные и последние заботы об остающихся на земле.

Вместе с тем князь вслух считал верстовые столбы... И вдруг однажды произнес резко:

– Тридцать восьмой...

– Нет, дядюшка, еще только тридцать верст отъехали...

– Далеко... Далеко до родной земли... А вот гляди – моя Таврида... Я вижу. Я лучше теперь вижу...

Графиня Браницкая тревожно поглядела на дядю... Если это бред, то как же скакать несколько верст до Николаева! Не лучше ли вернуться скорее назад в Яссы?

Через полчаса князь начал видимо волноваться, тосковать, шевелиться и встряхиваться своим грузным телом.

– Ну, вот... Вот...

Наконец он вдруг вскрикнул:

– Стой...

Все три экипажа остановились... Люди обступили коляску.

– Пустите... Здесь отдохну...

Он вышел, с трудом поддерживаемый рослым гусаром и своим лакеем Дмитрием. Маленький чиновник Павел Саркизов взял плащ из коляски.

Князь отошел немного в сторону от дороги, к верстовому столбу с цифрой 38. Плащ разостлали на земле, и он, с помощью людей, опустился и лег на спину.

Браницкая села около него.

– Вам хуже... Надо ехать назад... Отдохните, и вернетесь...

Князь не отвечал... Глаза его упорно и пристально смотрели вперед, будто силились разглядеть что-то...

Люди столпились невдалеке, между князем и экипажами... Только молодой чиновник стоял близ лежащего.

Прошло с полчаса среди полной тишины.

– Скажи царице, – заговорил князь тихо. – Благодарю... за все... Любил... одну... Никого не любил... Все все равно... Тебя... Да...

«Убирается!» – грустно, со слезами на глазах подумал Саркизов.

– Скажи ей... Надо... Через сто лет – все равно... Лучше она – Великая. Босфор будет... Я хотел... Все можно... Все! Захоти и все... захоти и все...

Он двинулся резко, почти дернулся, и взор его еще пытливей стал будто приглядываться к подходящему... И он вдруг выговорил сильно:

– Да... Да... Иду...

Прошло полчаса... Все стояли недвижно. Никто не шевельнулся. Никто не хотел поверить.

Браницкая присмотрелась к лежащему, тронула его рукой

и зарыдала...

Через час один из экипажей поскакал в Яссы...

Браницкая уже сидела в отпряженной среди дороги карете...

Люди, офицеры и солдаты стояли кучкой у пустой коляски и уныло, односложно, даже боязливо перешептывались.

Скоро опустилась на все темная и тихая мгла.

А на краю дороги, близ одинокого верстового столба, на земле, среди разостланного плаща лежало тело «великолепного князя Тавриды».

Около него стоял недвижно солдат-запорожец, поставленный на часах... А у края плаща сидело в траве маленькое существо... понурившись, съежившись, и думало...

«Да... Вот... Велик был... А что осталось... Меньше меня...»

Среди ночи запорожца сменил высокий гусар... Он пригляделся к покойнику и вымолвил:

– Павел Григорьевич!

– Ну... – отозвался юноша-чиновник.

– Нехорошо... Глаза не закрыли... Что ж это они – никто... Надо закрыть...

– Да...

– Я закрою...

Гусар присел на корточки около тела и толстыми, неуклюжими пальцами старался опустить веки на глаза... Но застывшие веки вновь подымались.

– Пусти! – выговорила уныло маленькая фигурка. – Я закрою...

– Ничего не поделаете... Надо вот...

Он полез в карман и, достав два больших медяка, закрыл по очереди каждое веко – и накрыл монетами...

– Это завсегда надо кому... вовремя взяться... – сказал гусар. – Покуда теплый...

– А кому надо-то? Чья забота? – грустно отозвался маленький человечек.

– Кому? Вестимо... Ближним...

– Он на свете-то был... вот что я теперь... Выше всех, но один! А я-то вот... И ниже всех – и один...

comments

Комментарии Ю. Беляева

1

Сенбернар – порода крупных собак, выведенная в Альпах для горноспасательных работ.

2

Фурьер – заготовщик продовольствия.

3

Берейтор – объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде.

4

Берлин – род четырехместной крытой коляски.

5

Рыдван – старинная большая карета для дальних поездок, куда впрягалось несколько лошадей.

6

Фореитор – при запряжке цугом кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей.

7

Митава – старинный прибалтийский город (ныне – Елгава), основанный в середине XIII в. и бывший ряд лет столицей Курляндского герцогства.

8

Самойлова – одна из четырех сестер Энгельгардт, супруга графа А. Н. Самойлова (см. примеч. к с. 397).

9

Скавронская Екатерина Васильевна – урожденная Энгельгардт, племянница Потемкина, в 1781 г. вышедшая замуж за П. Г. Скавронского, внучатого племянника Екатерины I, действительного камергера и российского посланника в Неаполе.

10

Браницкая Александра Васильевна (1754–1838) – урожденная Энгельгардт, любимая племянница Потемкина, находившаяся, во слухам, в интимной связи с ним; графиня, жена Ксаверия Браницкого, великого коронного гетмана Польши.

11

Генерал-аншеф – третье генеральское звание в русской армии XVIII в.

12

Алкивиад (ок. 450–404 вв. до н. э.) – афинский стратег с 421 г. в период Пелопоннесской войны, племянник Перикла, ученик Сократа. Бурная жизнь Алкивиада отражена во многих литературных произведениях.

13

Премьер-майор – чин в русской армии, равный подполковнику.

14

Герой Кинбурна – участник победного для русской армии сражения с турецкими войсками в октябре 1787 г. на Кинбурнской косе, близ устья Днепра.

...Зубов Платон Александрович (1767–1822) – последний фаворит Екатерины II, светлейший князь, генерал-губернатор Новороссии.

16

...Султан Селим. – Имеется в виду Селим III (1761–1808) – султан Турецкой империи с 1789 г.; он закончил начатую еще до его восшествия на престол русско-турецкую войну невыгодным для Турции Яским миром 1792 г. Борьба Селима III за преобразование Турции на европейский манер кончилась восстанием янычар, в результате которого в 1807 г. он был свергнут с престола, а затем и умерщвлен.

Диван – государственный совет в бывшей султанской Турции, состоявший из министров и придворных советников.

Репнин Николай Васильевич (1734–1801) – князь, генерал-фельдмаршал, последний представитель по мужской линии старинного рода, происходившего от св. Михаила, князя Черниговского. Принимал активное участие во второй русско-турецкой войне. После отъезда Потемкина в Петербург в 1791 г. Репнин остался за главнокомандующего русскими армиями и вскоре, одержав убедительную победу над турками, заставил их подписать в июле 1791 г. предварительные условия мира в Галаце. В 1794 г. он занимался усмирением Литвы.

19

...о бегстве Лудовика Французского. – Речь идет о Людовике XVI (1754–1793) и событиях Великой Французской революции.

20

Генрих IV (1553–1610) – король Франции (с 1589 г.), основоположник правящей династии Бурбонов.

21

...Леопольд. – Речь идет о Леопольде II (1747–1792) – австрийском государе, императоре Священной Римской империи (1790–1792). При нем был заключен в 1791 г. Систовский мирный договор, позволивший Австрии начать вмешательство в дела революционной Франции, чья свергнутая королева Мария-Антуанетта была родной сестрой Леопольда.

...перешвырнуть Луну через Босфор. – Имеется в виду «луна» («полумесяц»), символ и эмблема мусульманского мира и религии.

...Альбион – древнекельтское название Англии.

...Самойлов Александр Николаевич (1744–1814) – граф, племянник Потемкина, генерал-прокурор и государственный казначей, кавалер ордена Александра Невского.

...Схизма – раскол в христианской церкви.

Игумен – настоятель мужского православного монастыря.

Архиерей – в православной церкви общее название для высшего духовенства (епископа, архиепископа, митрополита).

Filioque– теологический термин, обозначающий спорное в христианстве определение Святого Духа как производного и от Бога-Отца, и от Бога-Сына.

...Никейский собор – один из вселенских церковных соборов, происходивших в городе Никее в 325 и 787 гг.

Коллежский регистратор – самый низший гражданский чин 14-го класса по введенной Петром I табели о рангах.

...Николаев – город на юге России, основанный в виде укрепления в 1784 г. Потемкиным.

Граф Матюшкин. – Очевидно, речь идет о Дмитрие Михайловиче Матюшкине (1725–1800), получившем графское достоинство в 1762 г.

Карлсруэ – немецкий город на берегу Рейна.

Ракалия (уст.) – негодяй, дрянной человек.

Давид – царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. – около 950 г. до н. э. Провозглашенный царем Иудеи после гибели Саула, Давид присоединил территории израильских племен и создал государство со столицей в Иерусалиме. По библейской легенде, Давид, в юности, еще не будучи царем, победил на поединке филистимлянского великана Голиафа, выстрелив в него камнем из пращи.

Шкалик – плошка с салом и светильней, употреблялась при иллюминациях.

Лютер Мартин (1483–1546) – доктор богословия Виттенбергского университета, ставший крупнейшим реформатором христианской религии, основоположником лютеранской церкви, построенной на отрицании догматов и иерархичности католицизма.

...в авантаже – от фр. *avantage* – преимущество, выгода.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ и общественный деятель, основатель и первый президент Берлинской Академии наук.

Кант Иммануил (1724–1804) – родоначальник немецкой классической философии, профессор университета в Кенигсберге, иностранный почетный член Петербургской АН.

...Фукидид (460–396 гг. до н. э.) – афинский историк, владелец золотых приисков во Фракии. Принимал участие как стратег в Пелопоннесской войне; двадцать лет провел в изгнании; автор восьмитомной «Истории Пелопоннесской войны» (закончена Ксенофонтom). Этот труд считается одной из вершин античной историографии.

Сервские фигурки – фарфоровые изделия прославленного завода во французском Серве, основанного в середине XVIII в.

...Орложи – настенные часы.

Радзивилл. – Речь идет об одном из представителей виднейшего польско-литовского княжеского рода, игравшего заметную роль в политической жизни польского королевства – Карле Станиславе (1734–1790), содержащем 10 тысяч регулярного войска и выступавшем против России, а позднее прощенном Екатериной II.

...Станислав Понятовский (1732–1798) – последний польский король (1764–1795 гг.) прорусской ориентации. После третьего раздела Польши отрекся от престола и переехал на местожителство в Россию.

Первый раздел – частичный раздел территории Польши, произведенный в 1772 г. Пруссией, Австрией и Россией, при котором Пруссия получила часть польского Приморья, Австрия отторгла в свою пользу часть Краковского воеводства и город Львов, Россия получила западнобелорусские земли и Инфляндское воеводство. В целом Польша лишилась до 1/3 своей территории и населения.

...Герберг – пивная.

Невшателец – житель швейцарского города.

Иосиф II (1741–1790) – австрийский эрцгерцог (император) с 1780 г., император Священной Римской империи с 1765 г.

...Ламбро-Качиони – грек, поступивший на службу к Екатерине II. Во время 2-й русско-турецкой войны отправился в Грецию и на свои средства вооружил небольшой корабль, составивший вместе с двумя другими судами отряд, нападавший на турецкий флот.

...партия «шляп» – в середине XVIII в. политическое движение крупных феодалов и торговцев, боровшихся за власть в Швеции против партии демократических низов.

Гюстав III (1746–1792) – король Швеции (с 1771 г.), правивший в духе просвещенного абсолютизма.

Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) – русский адмирал (1807 г.), участвовал в русско-шведской войне командиром линейного корабля. В 1802–1811 гг. был министром морских сил. В 1812 г., командуя 3-й армией, Чичагов преследовал Наполеона.

Ревельское сражение – морская битва, в которой русский флот нанес поражение шведскому флоту в период русско-шведской войны 1789–1790 гг.